

Геннадий
ПИСКАРЁВ

ИЗБРАННОЕ



Геннадий Пискарев

Избранное

«Пробел-2000»

2015

УДК 821.161.1-321.2 Пискарев
ББК 84.(2Рос=Рус)6-44

Пискарев Г. А.

Избранное / Г. А. Пискарев — «Пробел-2000», 2015

ISBN 978-5-98604-461-3

Издание избранных сочинений известного публициста Геннадия Пискарева вызвано не только возрастающим интересом к его творчеству, но и возрождающейся активной созидательной деятельностью нашего государства. В сборник включена небольшая, но наиболее яркая часть материалов, опубликованных в свое время в популярнейших периодических изданиях – в журналах «Огонек», «Крестьянка», «Сельская новь», «Советский воин», в газетах «Правда», «Сельская жизнь», и других.

УДК 821.161.1-321.2 Пискарев

ББК 84.(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-98604-461-3

© Пискарев Г. А., 2015

© Пробел-2000, 2015

Содержание

От автора	7
Об авторе	8
Часть I. Тогда земля еще дышала Русью	12
Воспоминаний длинный свиток	13
Слободзейские яблоки	17
Теплые дни осени	20
Шаль для свекрови	23
Копаясь в старом портфеле	26
Кто-то проклянет...	30
Люди в прошлое влюблены	32
Часть II. Дневник прекрасной поры	43
Витать в облаках	44
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Геннадий Пискарев Избранное

© Пискарев Г. А., 2015

* * *

*Светлой памяти жены моей Татьяны Дмитриевны Пискаревой
посвящаю*



Мать двоих дочерей – моя жена Таня – сложнейшая душа, с глубоко заложенным трагическим началом. Но мы запомним её устремленной к радости, с тихой, настороженной улыбкой на утонченном лице, она постоянно изучала иконописный свет Богородицы. Мне выпало редкое счастье прожить с нею 42 года – 42 года в состоянии щемящей неутоленной любви. Понимание значения её одолевает меня сейчас с каждым днём сильнее и сильнее.

От автора

При подготовке к изданию «Избранного», мне, конечно же, пришлось прочитать почти все сохранившееся «собственное наследие». Скажу откровенно, многое, из опубликованного ранее, мною было изрядно подзабыто, и я, подобно Вальтеру Скотту, перечитывавшему в преклонном возрасте свои рыцарские романы, иногда изумлялся: «Неужели это я написал?»

И не умереть мне от скромности, читая свои публицистические творения, написанные, скажем, в период развала страны, убеждался: а ведь не мало того, что предрекал я в ту пору, сбылось сегодня. Или сбывается. Более того, нынешние успехи общества, поломанного, изувеченного «демократией» и «друзьями» нашего народа, достигаются лучшим образом, когда мы вновь обращаемся к прошлому доброму опыту, «собирая камни», восстанавливаем преемственность поколений, сцепляя в единое целое благие дела дедов, отцов, сыновей, связывая вновь их «золотой нитью», разорванной беспощадно четверть века назад. По недомыслию одних и по злой воле других.

Конечно, немало того, о чем писал я ранее, когда народ и край поражены болезнью были, ныне можно бы и подкорректировать. Точнее, углубить и развить. Однако, зачем заниматься перепиской? И, противореча Козьме Пруткову, пытаться «объять необъятное»? Как говорят философы: истина всегда конкретна. Конкретна во времени и пространстве. Следовательно, хоть и доводилось мне заявлять когда-то, что для осмысления прожитой жизни потребуется еще две такие жизни, придется согласиться с мыслителями, жившими до меня и бывшими поумнее, чем я: великая историческая реальность возникает из реальностей малых, имеющих свои временные и индивидуальные очертания.

А данный сборник есть как бы своеобразный итог моей творческой, да и физической жизни. И пусть он не будет кромешным. Потому я легко принял предложение, вместо научно-академической статьи о себе, – дать искрометный материал, что подобрал к моему 75-летию великолепный журнал «Жизнь национальностей».

Кто хочет знать обо мне, моих сочинениях, принципах и взглядах больше, узнает, читая предлагаемое избранное из моих работ.

С поклоном и любовью
Геннадий Пискарев

Об авторе

Родился 23 января 1940 г. в деревне Пилатово Буйского района Костромской области. В 1964 году поступил в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. До этого «эпохального события» прошёл нелегкую, но высоко нравственную школу трудовой жизни и воинской службы. Работал в колхозе пастухом, был лесорубом, разнорабочим в летучке связи, плывал матросом на волжском пароходе, обслуживал компрессорные установки в одном из «ящиков» города атомщиков и ученых Обнинска.

Действительную армейскую службу нёс в гвардейской Таманской дивизии в качестве механика-водителя плавающего танка.

Творческий путь Г. А. Пискарёва, ныне академика АРЛ – это путь подвижника, неистового труженика, не изменявшего ни при каких обстоятельствах принципам справедливости и добра. Начав на творческом поприще рядовым сотрудником районной газеты, он стал впоследствии главным редактором Кремлёвского издания «Президентский контроль». Художественно переработанный колоссальный объем редкой исключительной информации о жизни народа, страны, собственные пытливые наблюдения, неординарное их осмысление, легли потом в основу его пронзительных публикаций, в частности, о проблемах села. Что находило и находит живой отклик у читателей, высоко оценивалось и оценивается в профессиональной среде. Он – лауреат Союза журналистов СССР, имеет многочисленные государственные и общественные награды.

Г. А. Пискарёва цитируют, о нём говорят, пишут:

Николай Дроздов, ученый, путешественник:

«По журналистским делам Геннадий изъездил страну вдоль и поперёк. От зеленоверхих Карпат до непроходимой Уссурийской тайги; от безмолвно заснеженной тундры до поющих знойных песков Средней Азии. С монгольскими друзьями пересёк черную пустыню Гоби. Его творчество – синтез глубоких чувствований и специальных знаний.»

Сергей Бахмутов, кандидат культурологии:

«Любопытной мне показалась публицистика Геннадия Пискарёва, посвященная родной земле. Это серия очерков, густо замешанных на семейной хронике и местечковых драматических коллизиях. *Главное достоинство очерков, на мой взгляд, заключается в том подспудном утверждении, что водораздел эпох не через фундаментальные политические катаклизмы проходит, а через души людей, обычных рядовых вершителей и жертв истории.* Замечателен очерк «Сильные духом», по-шолоховски крутой и образный. Я согласен с автором, что Россию уже в какой раз спасает глухая провинция, упорно не желающая сдаваться под натиском чужеродной духовной интервенции. Эта мысль проходит через все очерки, однако материал, в котором видна рука писателя, аналитика, неплохо знакомого с политической конъюнктурой, вовсе не пахивает ностальгией! Несмотря на трагичность фабулы, пессимизма в работах Г. Пискарёва нет, и понятно почему: он не разочарован в русском характере, не потерял веру в созидательность национального духа, в глубинные силы народа.

Интересно и поэтическое творчество Геннадия Пискарёва. Оно является прямым продолжением его публицистики (или публицистика – продолжение его поэзии?), – в основе его стихов лежит всё то же обострённое чувство Родины, реализованное как переживание частных, Особенность лирики здесь – полная безыскусность, простота, но не та, что хуже воровства, а та, что бытует на грани прозрачности бытия. Автор не стремится увести читателя в лексико-синтаксические дебри, нет, он пишет о том, в чем разобрался сам и понял наверняка. Ему не нужно ничего доказывать, он понятен универсализмом мышления, тональностью, сов-

падающей с внутренним миром любого человека, оставшегося таковым и умеющего ценить жизнь во всех её проявлениях. Судите сами:

*Великое моё Пилатово –
Деревня в двадцать пять домов.
От поезда с разъезда пятого
Бежать к тебе я вновь готов,*

*Чтоб чуять дух тепла коровьего;
Чтоб видеть за рекою лес;
И липы дедушки Зиновьева,
Что держат свод седых небес;*

*Как дедко Павел – глаз слезящейся –
В углу иконном бьёт поклон.
Над образами нимб светящейся,
Но то не нимб, а шлемофон*

*Танкиста, заживо сгоревшего.
Прости, Архангел Михаил!
Твой лик на фото сына грешного
Старик в божнице заменил.*

*Какое вещее деяние
В крестьянской рубленой избе –
Земных, небесных сил слияние
В страданье, вере и мольбе.*

*О, Русь моя, тебя оплакивая,
В Москве сквозь злато куполов
Я зрю великое Пилатово,
Святых и грешных земляков.*

*Пока вы были, смерды, пахари,
Цвела страна моя, но вот
Не стало вас. Россия ахнула
И покачнулся небосвод.*

*А я, кого лишь ваша силушка,
Уже последняя, поди,
К верхам «из грязи – в князи» вынесла,
Застыл, и боль горит в груди:*

*В родной деревне липы спилены.
Потомства не от кого ждать.
И кто ж теперь даст снова силы мне?
И мне свои кому отдать?*

(«Великое Пилатово» Г. Пискарёв).

Александр Теренин, доктор философии:

«Геннадий Пискарев – писатель, поэт, публицист, редактор. Трудом, названным автором «Сильнее разума», вышедшем в 2012 году, он заканчивает своеобразную «Человеческую комедию», в которую вошли книги: «На острие лезвия», «Исцеление болью», «Под пристальным взглядом», «Старт в пекло», «Крадущие совесть», «Алтарь без божества». В них настойчиво проводится мысль о сакральности людских деяний, постоянном взаимодействии живой плоти, души и духа человека. Разрыв в этой цепочке разрушает гармонию (благодать) окружающего мира, ослабляет любовь, без чего, как известно, теряет значение и силу правда.»

Александр Киселёв, доктор социологических наук:

«Вышла книга «Я с миром общаюсь по-русски». Один из её авторов – Г. А. Пискарев. Не так уж часто появляются сочинения, пронизанные патриотическим (подлинным, а не квасным) духом; мы всё больше пробавляемся сарафанной ностальгией, не понимая хорошенько, что к исторической традиции мы можем вернуться только на следующем витке, на более высоком уровне, с большей осмысленностью того, что произошло с предками и с современниками. Реанимация прошлого невозможна, история не признаёт заднего хода, но учитывать уроки былого мы должны, чтобы не повторять прежних ошибок и чтобы не вихлять по посттехнологическому будущему без руля и без ветрил.

Подлинный патриотизм, как утверждает Г. Пискарев, и есть уважение к прошлому ради будущего. А ещё – это понимание того, что личность без укоренения в родной земле не бывает состоятельной: мы интересны миру как ростки, отпочковавшиеся от могучего корня, пронизавшего за тысячелетия всю почву Отечества.»

Геннадий Кузинов, бывший офицер СА, ныне сельхозтруженик:

«Прочитал «Истоки» и «Жажда дела» Г. Пискарева. Да, не каждый отважится писать так смело и правдиво об оболтусах и «свистунах», что стоят у руководства. Такие статьи больше волнуют, чем толстые тома книг.

«Главное – мир на земле, а после мира – главное в сельском хозяйстве.»

Ахмет Хатаев, писатель, экс-председатель КГБ Чечено-Ингушетии:

«Истинное наслаждение испытал, читая «Золотую нить» Г. Пискарева. Словно воды ключевой испил.»

* * *

«Да, знают все! И русские, и кавказцы – все мы в соответствии с Божьим замыслом составляем в итоге единое целое, единую страну. Несмотря ни на какие лишения и былые проблемы, связь того же Кавказа и России только крепчает.» (Из выступления Рамзана Кадырова, в котором он по сути процитировал слова Г. Пискарева из статьи «Исцеление болью», опубликованной в журнале «Жизнь национальностей» № 2 за 2014 год).

* * *

«Геннадий Александрович! Какая у Вас хорошая память и добрая душа. Есть же люди, умеющие всё описать и этим самым заставить человека лучше увидеть себя, лучше трудиться.» (Из письма Героя Социалистического труда Ивана Кундика Г. Пискареву после публикации очерка «Под городом Горьким в газете «Сельская жизнь»).

А закончить подборку хотелось бы дружеским шаржем, который написал известный поэт России Виктор Злобин:

*Дитя загадочной Фортуны –
Писатель Гена не простой,
По форме он – немножко Бунин,
По существу же – Лев Толстой.
Достигнув почестей и сана,
Душой он там, где был! В «у-а».
...Висит на стуле Мопассана
Одежда Жоржа Дюруа.*

Часть I. Тогда земля еще дышала Русью

Животворящей святыней назвал А. С. Пушкин два чувства, столь близкие русскому человеку – «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Отсутствие этих чувств, пренебрежение ими лишает человека самостояния и самосознания. И чтобы не делал он в этом брennom мире, какие бы усилия не прилагал к достижению поставленных целей – без этой любви к истокам своим, все превращается в сизифов труд, является суетой сует, становится, как ни страшно, алтарем без божества.

Воспоминаний длинный свиток

Как трудно с годами писать четко и ясно, с твердым, не подлежащим сомнению, твоим собственным представлением о том или ином явлении, событии, человеке. Вероятно, это происходит от того, что жизнь подошла к определенному пределу и в этот момент, как давно уже говорят старые люди, она в одно мгновение пробегает перед глазами. В стремительном калейдоскопе мелькают картины доброго и злого, высокого и низкого, безудержно веселого, радостного и страшно-тоскливого, отчаянного – всего того, что, как амплитуда, колебалось в мятежной душе не протяжении не простого жизненного пути.

И все-таки даже в это смутное время возьмет да и посетит тебя счастливый миг, когда прошлое встает очищенным от всевозможных мерзостей и пакостей. И тогда начинаешь понимать смысл слов, сказанных Оноре де Бальзаком, что воспоминания – это единственный рай, из которого нас никто не сможет изгнать. Точно: воспоминания, память, это уже мое утверждение, как вдохновение поэта, величавы и искренни и, как духовный порыв, чисты и бескорыстны.

Как часто всплывает в воображении моя родная деревенька Пилатово с ее простодушными жителями, бревенчатыми серыми избами, от которых веяло какими-то древними поверьями, где зарождались некогда народные песни и сказки, загадки и былины. Как вожатый из пушкинской «Капитанской дочки», она возникает перед моими глазами то из-за плотной пелены падающего с небес и вихрящегося в метельном танце снега, то в курящейся синей дымке жаркого лета, когда она, стоящая на взгорке, под проносящимися над нею белоснежными облаками, кажется, плывет в необъятную небесную ширь и высь – к Богу.

Видится отчий дом с прикрасочным темным колодцем, со дна которого можно было узреть небесные звезды в яркий солнечный день. Слышатся порою таинственные шорохи и ощущаются таинственные тени, падающие от ликов святых, что смотрели с почерневших икон, озаряемых колеблющимся желтым светом, исходящим от зажженной перед ними посеребренной лампы. А то вдруг стиснет сердце цепяюще-тревожный трепет – страх, какой одолевал в вечерние часы при чтении в одиночестве гоголевского «Вия» или «Страшной мести».

Я вижу горящую в алмазном убранстве березу, двурогий месяц над покатою заснеженной крышей картофелехранилища, с которого отчаянные парни скатываются лихо на тупоносых охотничьих лыжах вниз. А мне, смотрящему на них через разрисованное морозом окошко, кажется: не с крыши слетают ребята, а непосредственно с позолоченного лунного диска.

Нет теперь обители детства, колыбели души моей – отчего дома и укутанной маревом таинственных видений родной деревни с непонятным названием Пилатово, отмечавшей свой престольный праздник ежегодно 10 августа, называвшийся (также непонятно для меня) – «Смоленская».

Воспитанник осовеченной школы, я в ту далекую, детскую пору не думал, конечно, о происхождении этих названий. Только впоследствии, когда приехал на учебу в Москву, обогло меня при посещении Новодевичьего монастыря открытие: я увидел там храм преподобной матери Смоленской – Святой девы Марии, давшей по Божьей воле земному миру Бога сына – Иисуса Христа. И начали в моем сознании облекаться в некую логическую цепочку странные мистические явления, например, что отец мой, как и несколько десятков односельчан, погиб во время Великой отечественной войны не где-то, а под городом Смоленском, от которого целым остался после кровавого урагана (по свидетельству матери, побывавшей там) только один почерневший, грозно-величественный, стоящий на высоком холме Смоленский кафедральный собор.

А что, если и Пилатово каким-то дивным корнем связано с именем прокуратора Иудеи (римской провинции) Понтием Пилатом, обрешенным за грехи людские на мучительную казнь

более двух тысяч лет назад Бога-сына. Да, быть такого не может! О, чего только быть не может на белом свете. Вон через поле от нашей деревни стоит старинно-русское, с исконно русскими людьми поселение Глебовоское, верхняя часть которого носит сугубо татарское имя «Курмыш». Конечно, татары здесь были, не тысячи лет назад, но все-таки, все-таки...

«Божий дух гуляет, где хочет». Это утверждение евангельское.

*Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины.*

Так писал «старик Державин». И подтверждение сему нахожу я порою, извините за нескромность, в собственной нескладной, грешной, а где-то прямо таки мистической судьбе. Мне 10 лет. Хожу в четвертый класс. Бабушка Варвара Ивановна, 21 ноября ведет меня насильно к обеду в храм Архангела Михаила – архистратига Христова воинства, что находится в пяти километрах от нас в селе Контеево. Потом я, Гена Пискарев, руководствующийся воспитанной во мне лютой самокритичностью, сам про себя напишу разоблачительные стихи в стенгазету.

*По улице гуляет
Ветерок-проказник,
Отстальный люд справляет
Религиозный праздник.*

Однако, не напишу я о том, как в церкви, дивясь красоте алтаря, очаровавшись ангельским пением женского хора на клиросе, незаметно для всех давил на лбу выскочивший прыщ. После обедни пришли мы в гости к бабушкиной сестре Матрене Ивановне, невестка ее, кареглазая, острая на язык женщина, увидев красное пятно на моем лбу, язвительно молвила: «Вон, как Генка Богу-то молился, аж лоб расшиб». Посмеялись.

Поздно вечером, в потемках возвращались домой. Я, бабушка и мать моя – Мария Михайловна. Спустились в овражек. И не заметили, как со склона его сиганула сзади на нас тройка лошадей, запряженная в «пошовежки», на которых валялись пьяные мужики. Мчащиеся взмыленные лошади разметали по сторонам бабушку, мать, а я, сбитый коренником, оказался под полозьями «пошовежек». Истошные крики матери и бабки не были услышаны развеселой братией. Тройка неслась, не сбавляя ходу, вместе со мной, зажатым под днищем. Я ничего не помнил. Очнулся под Глебовским, на краю дороги, вывалившимся из-под опрокинувшихся санок вместе с хмельными ездоками. Бугристая, избитая колеями, чуть припорошенная первым рыхлым снегом земля. И мать, неведомо откуда получившая силы, чтобы гнаться за разгоряченными лошадьми более двух километров, настигнуть их и перевернуть повозку, откуда я должен бы вывалиться не иначе как разбитым вдребезги. Но я бодро поднялся на ноги, на мне не было ни одной царапины, не случилось, видимо, и сотрясения. Чудо? Скажите, что нет.

Но какой ангел-хранитель, прикрыл меня крылом своим, за что оказал такую милость архистратиг Михаил, в храме которого утром стоял с бабушкой Варей?

Странно, но эту историю я вскоре забыл и вспомнил лишь через 11 лет – 21 ноября. Мы, гвардейцы-таманцы, глубокой ночью возвращались с армейских дивизионных учений в свою воинскую часть. Я вел плавающий танк «ПТ-76», позади башни которого, на прогретой броне трансмиссии, под брезентом дрых безмятежно десант. Каким-то образом мы выскочили на асфальтированную трассу. Движения никакого. И мы рванули по ней. Кстати «ПТ-76» может развивать бешеную скорость – до 60 км в час на пересеченной местности. А тут асфальт. Выскочили на мост – за ним крутой поворот. И вдруг чуть ли не в лоб откуда-то взявшаяся

машина. Резко зажимаю фракцион правого поворота – и танк мой, многотонная махина, со скользкого асфальта летит под откос насыпи, проделав боковой переворот, называемый у летчиков иммельманом. Десант, как грибы из лукошка, сыплется на мерзлую землю. Меня инерционная сила отбрасывает с сиденья водителя на аккумуляторные батареи – спасает голову ребристый шлемофон, а тело – упругая меховая куртка. В воздухе с танка слетают гусеницы и, перевернувшись, он падает на дно откоса «разутый», катки глубоко вязнут в земле, что и гасит возможное дальнейшее вращение, даруя тем самым всем нам дальнейшую жизнь.

Это было, вероятно, не только спасение – предупреждение: умерь гордыню, задумайся, уясни, что же ты делаешь, не сообразуясь с великими принципами человекостояния – добра и совести на этой земле. Молодой, горячий, подкованный марксизмом-ленинизмом, разумеется, лично я в ту пору не больно-то размышлял над происходящим, над странными этими случаями. Где мне было знать тогда, что и «случай есть мощнейшее мгновенное проявление божественного проведения».

Это сейчас, когда заново пришлось прочитать Пушкина не по школьной и даже не по университетской программе, кое-что дошло до меня. (Чтобы полностью понять Александра Сергеевича, надо быть гением – мысль С. А. Есенина), и я вслед за поэтом-пророком твержу:

*Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалею и горько слезы лью;
Но строк печальных не смываю.*

И не смыть. Когда душа просится к Богу, вспоминается и этот случай из детства. После проливных ливней река Кострома, что течет рядом с нашей деревней, чуть ли не выходит из берегов. Я, мечтавший стать моряком, демонстрирую одноклассникам, им 7 лет, свою удалость и ловкость – бросаюсь бесшабашно в крутящуюся реку и плыву к противоположному берегу. Достигнув его, поворачиваю обратно. И где-то на середине пути чувствую: плыть дальше нет сил. Кричу, захлебываясь. Одноклассники, стремглаз, разбегаются по домам. Но откуда-то взялся Леша Петрухин, недавно вернувшийся из военного госпиталя, где залечивал фронтовые раны. Какие, мы не знали, но рваный шрам, пересекающий Лешино лицо ото лба до подбородка, даже нас, ребяташек, приводил в ужас. И вот этот полуживой человек кидается ко мне, барахтающемся в водовороте, и вытаскивает за волосы на берег.

Он скоро умрет – дядя Леша Петрухин, в сельской больнице. Заводил рукояткой трактор ХТЗ, компрессией рукоятку рвануло в обратную сторону и упал механизатор на сырую землю без чувств. Неокрепший организм простыл. И... А, может, простыл он немного раньше? О, Господи, прости меня грешного, «хвалившегося» перед ребяташками деревни, что выплыл я сам (свидетелей-то не было), а Леша Петрухин пришел на реку удить рыбу.

*О человек!
Черта начальна Божества...
Отколе произошел? – безвестен.
А сам собою быть не мог.*

Это цитата из грандиознейшей оды «Бог», изучаемой на всех философских факультетах мира, кроме наших отечественных. Автор – екатерининский солдат, действительный тайный советник и многих орденов кавалер, выходец из крестьянского сословия, упомянутый выше Гавриил Романович Державин, благословивший, «сходя в гроб», «наше все» – А. С. Пушкина.

Сколько же было в деревеньке моей рядовых сельских тружеников, копающихся вечно в земле, и навозе, великих умов и высоких душ. Но мы, (и я, в частности) племя молодое, незнакомое, говоря словами гения, верили только славе и не понимали, что между нами, «может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствующий ни одною егерскую ротую, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в «Московском телеграфе».

Запоздало, увы, пришло ко мне понимание и признание величия «родового гнезда», о котором, ушедшем, уже в небытие (причины темны и загадочны, как убийство С. А. Есенина, судьба коего, считаю, есть олицетворенная тайна бытия и умирания многострадальной Родины нашей), написал цитированные выше стихи:

Великое мое Пилатово...

И грызет сожаление, совесть, что не смог (не созрел в свое время умом и сердцем) рассказать о судьбах крестьянствующих односельчан, записать великорусский говор, яркий, мудрый, своеобразный, богатый великими смыслами, отливающий необыкновенными оттенками чувств, человеческой красоты.

Ах, если бы была жива та деревня и я бы, не давний с наивной душой мальчишка, а отесанный грубым рубанком жизни мужчина, смог бы встретиться с ней. Я положил бы к ногам ее все, что скопил-приобрел за долгие годы, и что делал, уверен теперь, лишь бы только добиться признания ее и одобрения. Её – и никого больше.

Слободзейские яблоки

Как давно это было! Зеленый луг за околицей, поросшая кашкой тропинка, и она, Тамара Гагарина, семилетняя девочка, бежит по ней в соседнюю деревушку на именины к бабушке Варе. Всей деревне виден дом именинницы. Просторный и солнечный, с большим количеством окон на запад, восток и полдень. Как часто он будет вспоминаться потом Тамаре! Потом, когда подрастет она и станет женщиной, матерью. Вспомнится и сама бабушка Варя и гости ее. Вот толпятся они и галдят посреди избы, а затем по сигналу бабушки устремляются шумно за стол. И вдруг кто-то спохватится: «А где же Мария? Опять ее ждать приходится».

– Вон, идет-вышагивает, – изменяя обычному своему добродушию, проворчит бабуля. И все обернутся и глянут в заросший крапивой проулок, по которому не спеша, будто что-то разглядывая в огороде соседа, обычно шагала Мария.

Обитель веселья и радости – дом бабушки Вари. Сколько негромких, но милых праздников прошло под крышей его! И что удивительно: ведь эти нехитрые праздники устраивались в послевоенные годы, когда людям жилось несладко, когда их раны еще кровоточили. Бабушка же жила одна-одинешенька, муж ее умер рано, подросшие дочери вышли замуж и поразъехались, старший сын служил в армии, младшенького – Васеньку отняла у бабушки война. Но врожденное жизнелюбие и добросердечие не только не дали очерстветь или замкнуться бабушкиной душе, но и постоянно побуждали ее делать что-то хорошее для других, обласкать кого-то, устроить праздник. Каким добрым лекарством бывал он для измученных лишениями и невзгодами бабушкиных знакомых, родных ее, каким светлым днем становился он для ребят, видевших своих матерей и отцов в эти часы веселыми и беззаботными! И только, помнится тетя Маруся, как остров среди бурной реки, была всегда в этих случаях замкнута и угрюма. Иногда она пела, но таким заунывным голосом, что и веселые, бодрые по смыслу песни превращались в тоскливые и печальные.

Тетю Марусю такую сделала война, забравшая навсегда у нее мужа и оставившая на вдовьих руках двоих малолетних ребят, дочку и сына. По-разному люди переносят беду, по-разному лечатся от невзгод. Мария переносила свое горе самым невероятным образом и никак не лечилась от него – она замкнулась в себе. В обычное время трудовых, неистовых будней ее замкнутость и напряженная тоскливость в глаза бросались не очень, но в минуты веселья о них спотыкались все. И раздражалась. А она, наверное, ждала участия и сочувствия. Но так уж, видно, устроен мир. Веселясь, он хочет, чтобы все вокруг веселилось.

Как давно это было! И вот снова Тамара Ивановна в краю, где прошло ее детство. Нет теперь бабушки Вари, нет и дома ее. На месте его бурьян и крапива. Но тетя Маруся жива. Она уже бабушка, пенсионерка и вроде бы не так, как прежде, строга. Но строга и серьезна не по годам Тамара. Не очень мило обошлась с нею жизнь. Раннее замужество, скитания по чужой стороне, потеря супруга и вдовья доля, доля женщины, растящей детей без мужчины в доме. Схожа во многом судьба ее с судьбой тети Маруси, как похожа характером и отношением к жизни с нею Тамара. Значит, быть у них долговому душевному разговору.

...Несколько раз подогревался потухающий самовар, не одна уже чашка чая была выпита и с малиновым, и с клубничным вареньем, а разговор у двух женщин кружился и кружился около воспоминаний о бабушке Варе и праздниках, ею устраиваемых. Хороший, теплый такой разговор. Правда, Тамаре не терпелось перевести его на другую тему, очень ее волнующую. Но не могла она сделать этого. Потому что увидела: сидит перед ней не та тетя Маруся, какой помнилась ей. Не властно-печальная и непреклонная женщина, а улыбочиво-добродушная бабушка. И как бы Тамара осмелилась навязать иной разговор, неизвестно, если бы она не спросила сама:

– Сынишка-то твой как без батьки растет?

И тут Тамара дала волю чувствам своим и словам. Сынишка? А что, разве плохо ему с родной-то матерью, которая здоровья своего не щадит, работает денно и ночью, лишь бы в доме достаток иметь, лишь бы он, сынишка этот, был одет и обут, напоен и накормлен не хуже других. Ради него она о себе забыла, о молодости своей, только бы какой «дурной слух» не коснулся сыновья уха. С той поры, как она овдовела, ни один чужой мужчина на порог ее дома и ступить не смеет. Конечно, что говорить, вдовья доля – она не легкая. Ну да ничего: нас так просто не сломишь, не правда ли, тетя Маруся?

Тетя Маруся, а вернее бабушка Маня, терпеливо и внимательно, но с какой-то грустью в глазах долго слушала излияния молодой матери и сказала:

– А ведь с тобой, Тamarочка, наверное, очень трудно быть вместе!

– А я не хочу ни с кем быть.

– А с сыном? Мне, кажется, и ему нелегко видеть тебя постоянно такой вот натянутой.

– Для него же стараюсь.

– Не надо ему такого старания, – вздохнула бабушка Маня. – Я тоже когда-то думала об этом, как ты.

И услышала в тот вечер Тамара Ивановна от старенькой тети Маруси такое, в чем та и себе-то, наверное, признавалась нечасто. Она услышала исповедь женщины, которая во имя детей своих отказалась от личного счастья.

– Да, Тамара, отказалась. Замкнулась в тяжелом мире своем, никого не допускала туда. Казалось тогда мне, что детям от этого лучше станет. Считала: свободная и независимая, я им полное счастье смогу принести. И забыла совсем, что огонь-то от огня зажигается. Счастье другому может дать лишь счастливый человек. А могла ли я быть таковой, если отгородила себя ото всех.

И вдруг посерьезнело, посуровело лицо бабушки Мани. В памяти Тамары вновь всплыли картины далекого детства, тогдашние разговоры родни о том, что тете Марусе предлагает руку и сердце один почтенный мужчина, а она, подумайте только, отвергает его. «Гордячка несносная!» И увеличивался разрыв между родственниками и тетей Марусей. Молодая, двадцативосьмилетняя женщина начала уходить в себя, погружаться медленно в одиночество. И в этом мучительном состоянии Мария стала, видимо, находить какое-то удовлетворение. Свою отчужденность и неконтактность она не то чтобы тогда демонстрировала, а величаво несла. Никто не хочет понять ее вдовья горя, не ценит жертвенности. Ну что ж. И не надо. Но иногда Марии становилось очень обидно. И незаметно для себя, одолеваемая безутешной печалью, она начала отказывать в ласке детям. А ребенок без ласки, что трава без солнышка, блеклым растет.

– И получилось вот, – вздохнула горько бабушка Маня, – вроде бы неплохие ребята мои, как будто внимательные, да только уж слишком сдержанные. Не чувствую, поверь, не чувствую горячий их привязанности ко мне. Что ж, сама холодна была с ними, пенять теперь не на кого. Знаешь, Тамара, я иногда обо всем этом думаю еще горше. Уж о детях ли заботилась я прежде всего, когда отвергала некогда предложения мужчин выйти замуж? Не о собственном ли только спокойствии пеклась я в ту пору? Не тешила ли я всем этим самолюбие свое да гордыню? Вот мы целый вечер о бабке Варваре толковали. Завидую я ей. Да и все, наверное, ей по-хорошему завидуют. Светло, радостно прожила она жизнь. В памяти у многих осталась. А ведь тогда, грешным делом, в душе я поругивала, обвиняла ее в простоте, и в беззаботности. А она всего-навсего не хотела выставлять на народ беды свои, делать из них несчастье всеобщее. Мудра была бабка Варвара. Поучиться б у ней доброте и щедрости сердечной. Так что бойся, Тамара, душой зачерстветь, бойся! Посмотри, подумай, как дальше налаживать жизнь. Работящая, видная ты. Если есть человек хороший, участие к тебе имеющий, соглашайся, выходи замуж. Это и для сына твоего – счастье! Худое это дело, когда парень без мужской поддержки воспитывается.

С того памятного разговора времени прошло немало. Отгостила в родных краях и уехала на работу Тамара Гагарина. Потом до бабушки Мани дошли слухи, что сменила свое старое место жительства и перебралась куда-то на юг. Куда, никто толком не знал. Постепенно встреча забылась.

Но однажды по осени почтальон принес Марии уведомление на получение посылки с фруктами. На обратном адресе значилось: пришла она из молдавского села Карагаш, что в Слободзейском районе. Фамилия отправителя была незнакома.

И на другой день, получив на почте фанерную коробку, доверху наполненную душистыми, розовыми яблоками бабка Маня долго ломала голову: «От кого же такой гостинец?», пока на дне посылки не увидела письмо. «Дорогая тетя Маруся, – волнуясь, прочитала она, – я вышла замуж. Володя, мой супруг, человек, как и я, жизнью побитый, но душевный и отзывчивый. Мы живем дружно. Тихая радость поселилась в доме у нас. Володя с сынишкой учатся играть на баяне. Спасибо тебе за совет. Тамара».

Ах, какими душистыми были эти слободзейские яблоки!

Теплые дни осени

Миловидная девушка, не торопясь, открыла окно стеклянного барьера сберкассы, равнодушно бросила в зал:

– Ну, что там у вас, давайте!

Пожилая женщина в длинной юбке суетливо протянула старательно исписанный, вчетверо сложенный лист бумаги. Кассирша развернула его и стала читать. Вдруг брови ее удивленно поползли вверх:

– Вы... Вы завещаете свой дом и все имеющиеся сбережения государству? Вера Михайловна, разве у вас нет родственников?

Вера Михайловна потупила поседевшую голову, а затем твердо ответила:

– Есть. Но добро пусть пойдет государству.

* * *

Сватов у Виктора Чакина не было. Отдать за него дочку он уговаривал Веру Михайловну сам. Лыстил, заглядывал в глаза, встряхивал волнистым чубом: «Вера Михайловна, что вы боитесь? Ну, будет ваша дочь жить со мной, это же рядом. Пятнадцать километров – не тысяча верст. Мы в любое время на велосипеде приедем. Да и поезд три раза в сутки ходит. Вера Михайловна, дров порубить или в чем другом помочь – разве за мною встанет. Десятку-другую на сахар подбросить – тоже не проблема. На производстве, чай, работаю...»

Вере Михайловне хотелось заплакать, сказать, что дочь у нее единственная, что трудно было солдатской вдове растить ее в суровое военное и послевоенное время. Хотелось сказать, как ради дочери она отказывала себе во всем.

Вырастила дочку – и вот на тебе... Откуда взялся ты, Виктор Чакин? Дочка, где ты нашла его? Ох, горе, ты мое, горе, отпустила тебя на свою голову к тетке погостить. Покатали тебя, неразумную, на велосипеде – и до свидания, мама, замуж выхожу.

Сколько раз вспоминала потом Вера Михайловна этот день, сколько раз проклинала себя, что поверила словам ласковым и обильным. Ведь и в голову не пришло тогда, что хороший человек не краснобайством и лестью славен. Эх, не зря говорят: человека узнать – надо пуд соли с ним вместе съесть.

На свадьбе Чакин говорил и пел больше всех. Екатерина веселая была. Славил зятя теща, хоть и омрачена была словами, что услышала от него в загсе:

– Ну, вот и доказал Нинке! Женился на молоденькой.

А Нинка-то, оказалась, была его первой женой. Разведенным был Чакин. Но ошарашило тогда Веру Михайловну вовсе не то, что зять ее второй раз в брак вступает – мало ли у кого не удалась первая семья, – а то, что женился он на Екатерине, как женился бы на любой другой, не по любви, а лишь бы доказать первой жене, что, мол, выгнала ты меня, а я другую, не хуже тебя, нашел.

Жить молодые стали в городе на частной квартире. Первое лето Чакин с женой в деревню часто приезжал. Теще, правда, не помогал. Ходил к далекой и близкой родне Веры Михайловны в гости. Родные были люди хоть и не очень обеспеченные, но добрые. Встречали с открытым сердцем. Весел и интересен был Чакин. Сыпал анекдотами, рассказывал смешные истории.

– Ну, Вера Михайловна, зять у тебя прямо душа, – поздравляли тетушки и дядюшки свою родственницу.

Вера Михайловна улыбалась, говорила: «Да разве б за плохого человека отдала я дочку». А на душе – беспокойно. И было из-за чего. После свадьбы мать Веры Михайловны, бабушка

Варя, зазвала к себе «любимых внучат», Виктора с Катей, открыла свой старый, пронафталиненный короб, достала со дна его отрез довоенного добротного сукна, протянула Чакину:

– От меня подарок.

Вера Михайловна, узнав об этом, в шутку сказала зятю:

– Бабке-то хоть гостинец из города за это привезите.

Чакин скривил рот, шмыгнув носом:

– Сукно-то гнилое, долго не проносится.

А вскорости молодые захотели побывать в Ленинграде. Перед отъездом теща протянула зятю немного денег:

– Купите мне чего-нибудь.

Привезли конфет, печенья. Чакин, передавая их теще, сказал:

– С тебя, Вера Михайловна, десятка причитается. За труды, за провоз.

«Господи, боже мой, – запричитала она в душе, – да разве я брала с них деньги, когда в праздники, и в будни несла им и сыр и яйца? Не только за провоз и за продукты ни копейки не взято. А даром что ли досталось все?» Вслух же она сказала:

– Конечно, конечно... Я заплачу...

Ах, зачем она не сказала тогда, что думала, зачем потакнула неблагодарному человеку! А дочка-то, дочка тут же была. Почему промолчала?

Однажды Екатерина приехала в деревню одна. Мать осторожно начала выпрашивать, как живется ей, как относится муж.

– Горяч, Виктор, – ответила дочь, – упрям. Свое всегда возьмет. Люди говорят, что это мужская твердость... Тут как-то пришла ко мне Таня – подружка моя. Так Виктор с нее шапку меховую сорвал и не отдал. Это за те деньги, что я еще в девичестве дала ей взаймы, а она их мне до сих пор не вернула.

– Да ведь трудно, наверно, Танюшке отдать сейчас, – тихо сказала мать. – На работе у нее не все ладится.

И вдруг Екатерину будто подменили, глаза стали узкие, злые.

– Ох, какая ты, мама, жалостливая! Таньке сочувствуешь, а нам нет. А мы вот дом строить задумали, деньги нам тоже нужны.

– Татьяниним долгом дыры не залатаешь, а счастье свое потерять можешь. Дом, конечно, дело нужное, но из-за него не следует человеческий облик терять. И не заметишь, как засосет приобретательство-то.

Говорила мать дочери верные слова, однако по глазам видела, что слушает ее Екатерина не умом и не сердцем. Знать, дала уже корни школа Чакина.

Прошли годы. И был у Чакиных свой дом. Были наряды. Ходил Чакин, задрвав голову вверх. Первым ни с кем, кроме начальства, не здоровался. Гордился, что жить умеет. В гости к себе приглашал только тех, от кого был в чем-то зависим, или для того, чтобы похвастаться очередной справленной вещью. Говорил, оттопырив губы: «Утру нос любому».

Вскоре ходить к нему перестали. Хвастаться Чакину стало не перед кем. Это начинало его злить.

Книг он не читал, не признавал разговоров о культуре, искусстве, возненавидел одну из подружек жены, которая как-то в его присутствии повела разговор о прочитанных стихах.

– Деревенщина неотесанная! О стихах толкует, как будто и в самом деле культурная.

Жена грустно оглядела ковры на стенах и полу, буфет с изящными рюмочками, которые никогда не вынимались, и, может быть, впервые подумала: «А ведь в клетку меня посадил».

Все реже и реже ходила к зятю теща. Ей было противно самодовольство Чакина. Как все люди, выросшие на природе, Вера Михайловна любила задушевную, добрую беседу. С Чакиным же общий язык она перестала находить. Он считал во всем правым себя. В разговорах возражений не терпел, грубил.

– Вот скажи-ка, Вера Михайловна, что бы ты сделала, если б нашла вдруг клад? – начал, бывало, заводить разговор Чакин после прочтения в газете заметки о найденном и сданном государству золоте.

– Да государству отдала б, – просто отвечала теща.

Зять ответ колот, как иглами:

– А что оно тебе дало, государство-то?

– Все у меня от него, вся моя жизнь...

– Ишь, какая идейная! – хмыкал зять. – Как с трибуны говорит...

Откровенная ненависть к теще появилась у Чакина после того, как Вера Михайловна отказалась принять предложение зятя продать дом и корову, чтобы половину выручки отдать ему. Чакин тогда пристраивал к своему особняку веранду, делал беседку. Денег не хватало, а ждать, когда они скопятся, было не в его натуре. Хотелось скорее доказать соседям, что жить он может лучше их.

– А мне где жить прикажешь? – спросила теща зятя.

– В городе на оставшиеся деньги можно купить половину дома.

– Хорошо рассудил. Мне что, семнадцать лет – по чужим-то углам обитаться?

Чакин, когда теща ушла, чертыхался: «Умна, умна, матушка. Но погоди, придет старость, не попросишься ли ты ко мне жить?»

– Зачем ты так? Мать она все же мне. Да и дом строить помогала нам, – заикнулась было жена.

Но Чакин только свирепо сверкнул глазами.

Старость к Вере Михайловне приближалась неумолимо. Однажды болезнь свалила ее в постель. Спасибо соседям: ходили за ней, топили печь, доили и кормили корову. Еще не оправилась Вера Михайловна после хвори, как приехала к ней дочь, дала совет:

– Поговори с Чакиным, может, к себе возьмет тебя.

– А ты что же, дочка, аль никакого голоса в доме не имеешь?

Промолчала Екатерина, видно было: сдерживает слезы.

– Да не бойся, – успокоила ее мать. – Не буду я вашу жизнь нарушать. Что я, не понимаю разве – житья ни тебе, ни мне не будет, если я поселюсь у вас. Раньше нужно было одергивать Чакина-то, когда он с Танюшки шапку сорвал.

Зять появился у тещи на деревенский праздник урожая. Приехал в шляпе, важный, начал подсчитывать доходы Веры Михайловны:

– Молоко государству продаешь! Мясо тоже, пенсию получаешь, на деньгах сидишь...

– Может, тебе их отдать?

– Отдашь, не отдашь, все равно мои будут. Говорят, здоровьишко у тебя неважное.

Это было уж слишком. «Смерти ждешь, Чакин? Наследства? – горестно размышляла Вера Михайловна. – Да не впрок оно тебе будет!»

...Она шла за пять километров в село, где было почтовое отделение и сберегательная касса. Осеннее солнце грело ей плечи, спину. Знакомые останавливали ее, спрашивали о здоровье, о дочери, о зяте.

– Как же, не забывают, вчера только были.

И горькая улыбка трогала ее губы.

Шаль для свекрови

Когда Володя Ковалев, смирный, долго не женившийся после увольнения в запас из армии парень, привел в дом Аннушку Морозову, мать вдруг горько заплакала.

В своем доме слез Аннушка не видывала, жила беззаботно и теперь с недоумением смотрела на свекровь зеленоватыми глазами: «Притворяется, что ли? О чем плакать-то?»

Володя, загорелый до черноты, не зная, куда деть руки, несмело топтался около суженой, виновато глядел в сторону матери. А та, чувствуя неловкость сына, еще сильнее стала тереть глаза.

Аннушку все считали красавицей. И иные, поглядывая со стороны на молодых, говорили: «Нет, не пара она ему». Разговоры эти доходили до обоих. И действовали на каждого по-разному: Владимир боготворил Аннушку еще более, а она все чаще задумывалась, а не поторопилась ли с замужеством?

Володя работал за двоих. Старалась не утруждать невестку домашними делами и свекровь. «Пока сил хватает, зачем неволить, – думала. – Вот уж здоровья не станет, тогда Аннушка и поработает, оплатит ей за всю доброту».

Здоровья у матери со временем и впрямь поубавилось. Все труднее и труднее становилось подыматься с петухами, топить печь, прибираться в комнате, ставить молодым поутру горячий завтрак. Сказать же Аннушке, чтобы она взяла часть забот по дому, стеснялась. А та – то ли не догадывалась, что матери тяжело хлопотать по дому, то ли не хотела обременять себя – по-прежнему сладко спала до позднего часа, не соизволив накануне принести даже ведра воды. И в душе свекрови копилась обида, никому не высказываемая и оттого еще более горькая. Когда-то очень веселая женщина, она редко теперь улыбалась соседям, невестке, да и сыну, не сумевшему или боявшемуся «повлиять на жену».

Аннушка, чувствуя порой на себе тяжелый взгляд свекрови, недовольно сжимала рот и уходила. «Она не любит меня, а я почему-то должна ее любить», – злилась невестка. Обстановка в доме накалялась, и, кто знает, чем кончилось бы все, если б однажды не произошла эта встреча...

Аннушка решила купить модные босоножки на «платформе». Но ни в сельмаге, ни в районных магазинах их не было.

– Может в Москву съездишь? – угрюмо сказала свекровь.

– А что – и поеду! – вскинула голову Аннушка. – И стала собираться в дорогу.

Плацкартных и купейных мест не оказалось, и Аннушка, немного поворчав, вместе с другими взяла билет в общий вагон.

В крайнем купе, куда Аннушка прошла вместе с женщиной среднего возраста, на нижней полке дремала сухонькая, небольшого роста старушка. Под боком у нее была скомкана подушка, в ситцевой, с красненькими цветочками наволочке.

– С комфортом едет бабуся, – улыбнулась женщина. – Хоть в общем вагоне, да с подушкой.

Бабушка открыла глаза, обвела ими своих новых соседок, миролюбиво спросила:

– Сколько до Москвы-то ехать, доченьки?

– Да часов восемь еще.

– Ну вот и отмаялась. Добрались до белокаменной. От нее до Орла рукой подать.

– А издали ли едешь, бабуся?

– Издали, детки. Из-за Байкала.

– И все в общем?

Бабушка кивнула головой.

...У Дарьи Никифоровны было три сына – один статнее другого. И мать не чаяла в них души. Лишившись во время войны мужа, она не щадила сил своих, только бы дети не знали лиха. Работала в колхозе не покладая рук, за приусадебным участком следила, в воскресенье умудрялась «обернуться» до Орла, продать там две пятилитровые четверти молока или корзинку лука с огорода. На вырученные деньги покупала то ситцу кусок, то что-то из обуви ребятам. Хоть и трудно, а парней одевала лучше, чем иные с отцами. И чего там – баловала, баловала их.

– Наломаются еще, – говорила мать, когда кто-либо из соседей советовал ей определить парней на работу.

Ее сыновья были единственными на селе, кто окончил в ту тяжелую послевоенную пору по десять классов. Окончили и разлетелись в разные стороны: старший уехал в Читинскую область на прииск, средний устроился на заводе в Минске, а младший поступил в геологоразведочный институт.

Опустело в доме. Теперь Дарья Никифоровна жила ожиданием летних отпусков. Сберегала к этому времени снедь: яички, мясо. А в дни приезда кого-нибудь из сыновей варила терпкий малиновый квас. Уж очень любили его ребята. И летала мать, как на крыльях. Устали не знала...

Женился старший. С молодой женой отправился отдыхать к теплому морю. К матери «заскочили» на обратном пути. И то радость Дарье Никифоровне. Уж как она за невесткой ухаживала, как старалась угодить ей! А та на прощанье пообещала свекрови приехать на следующий год обязательно. Да видно некогда было – не приехали.

Только через два года появился в доме старший. У него в ту пору родилась дочь, и прибыл он к матери не затем, чтобы навестить, а чтобы уговорить ее поехать к нему на постоянное жительство.

- Чего ж тебе здесь одной маяться. В твои ли годы с таким хозяйством возиться?
- А что с домом делать? Ведь пропадет без хозяйки, – заплакала мать.
- Да продать его. Нашла чего жалеть...

А ей тут каждая щепочка, каждый крючок дороги. Всю жизнь благоустраивала она свое жилище в надежде, что когда-нибудь вернутся ее сыновья под родную крышу. А они...

Мать понимала: нелегко ей там будет, в городе. Но разве откажешь родному? И продала она дом. И поделила поровну между сыновьями деньги, полученные за него...

У старшего сына за внучкой появился внук, а затем другой. Всех вынянчила Дарья Никифоровна, выходила до самой школы. А сама поседела, поблекла. Шутка ли? Одно дело в молодости с детьми возиться, другое – в старости.

Тут пошли дети у среднего сына. Стал он звать в гости. И рада бы поехать, да нету сил-то уже. Отказалась. И перестал сын письма слать.

Нелегко было перенести это матери. Тем более что теперь и невестка старшего сына поглядывала на Дарью Никифоровну косо: нужды в няньке не стало, а убрать казенную квартиру – дело нехитрое. От этих взглядов у старой кусок изо рта валился.

Однажды, страдая от бессонницы, она тихо-тихо вышла из своей комнаты в коридор. Дверь в спальню сына и невестки была приоткрыта. Оттуда доносился разговор.

- Погостила у нас, теперь пусть к другому сыну съездит.
- Ее же там с ребяташками возиться заставят, а она стара и слаба.
- Что же, по-твоему, и будет она все время у нас? В конце концов, братья твои тоже обязаны свою мать кормить.
- А что делать? Средний вот и писем не пишет.
- Скажи, чтоб алименты на него подала, да и на геолога, кстати. Немало, чай, зарабатывают...

Наутро Дарья Никифоровна заявила, что поедет в Минск, к среднему. Невестка остаться не уговаривала. Сын, отводя глаза в сторону, попросил подождать до полочки: деньги на обнвы потратили, вряд ли хватит на билет до Минска.

– Зачем ждть, у меня от дома-то осталось немножко. Сама возьму.

А ехать Дарья Никифоровна собиралась вовсе не в Минск, а в родную деревню на Орловщине. Там, как писали ей два года назад соседки, можно было недорого купить старенький домик. Чтобы не тратиться особенно дорогу, билет купила в общий вагон...

– Да, история, – только и сумела сказать Аннушкина попутчица, когда Дарья Никифоровна закончила рассказ о своей жизни. Аннушка же вообще не могла сказать ни слова. Шемящая сердце жалость что-то перевернула в ее душе. Она смотрела на бабуся с простенькой подушкой под боком, на ее старенькую, видимо после снохи, шерстяную кофту и представила свою свекровь. Вот также трудно растила она сына, а теперь ради счастья его мирится со строптивостью ее, Аннушки, и ведет нелегкое хозяйство. Что-то на душе у нее? В какой дороге, кому откроет она сердце?

– Дарья Никифоровна, – после некоторого молчания спросила женщина. – Купите вы дом – сыновьям об этом напишите?

– А для чего ж я еду на родину? Чтоб потом их к себе в гости пригласить. Наварю малинового квасу, уж как угощу всех. Радость-то для меня будет!

Аннушка, пораженная, сидела молча до самой Москвы. Когда поезд прибыл к перрону Ярославского вокзала, она подхватила нехитрые узелки Дарьи Михайловны, узнала в справочном, как добраться до Орла, и проводила попутчицу до касс Курского вокзала.

– Счастливая та мать, что сына за тебя отдала, – благодарила Дарья Никифоровна попутчицу. Аннушка покраснела. Глаза подернулись влагой. У Курского вокзала она зашла в сверкающий стеклом и сталью магазин с красивым названием «Людмила» и купила там единственную вещь – шерстяную шаль... Для свекрови. В тот же день, никуда больше не заходя, она уехала из Москвы домой.

Копаясь в старом портфеле

Копаясь в свалке газетных вырезок, беспорядочно валяющихся в старом-старом моем портфеле, наткнулся я на пожелтевшую, почти истлевшую страницу. Пригляделся, прочитал заголовок одной из статей «История родной деревни». Боже, оказывается, еще лет пятьдесят назад я все-таки пытался что-то сказать о своей малой родине, о людях ее населяющих. Любопытно, как же я писал о них тогда? Дорогой читатель, давай прочтем материал этот вместе. Итак:

...Дед Николай лежал на печке, где сушились валеные сапоги, портянки и валялось всяческое тряпье, а чуть ниже – в горнушке – спал рыжий, величиной с пестерь, кот. Дед был стар, как дом; кот по темпераменту был стар, как дед. Дед давно уже не мог работать и жил на кой-какие сбережения, накопленные за долгую трудовую жизнь. Кот давно не ловил мышей, кормился за счет дедовой доброты лучшими кусками со стола.

Но кот, казалось, не особо выражал признательность деду за сладкие куски – даже не мурлыкал, и дед, в свою очередь, был не совсем любезен с котом. Кидая ему баранину, тянул недовольно:

– На-ко, черная душа.

И, глядя после обеда на медленно удаляющегося к горнушке кота, сердился:

– Ишь идет, как коновал. Ну, до чего ж нехороший кот, – это прямо до ужаста.

И шел вслед за ним на печку. Иногда, видимо, вспоминая что-то, останавливался, и молился богу.

С богом у деда, вообще-то, часто случались казусы. Вроде этого. Как-то, еще будучи в силе, он вызывался помочь колхозу, только что организованному, в уборке сена.

Работали от деревни верст за 20 – на пустоши, питались из общего котла, спали в шалашах. Однажды, когда после косьбы шли завтракать, дед вспомнил, что сегодня праздник – праздник трех святителей. Невдалеке, где дымился котел с варевом, дед стал молиться. Молитва состояла из одних пришепетываний и возгласов:

– Слава тебе, господи... Сегодня праздничек трех святителей...

Иванко Кузнецов, известный насмешник, стоял сзади и надоедал:

– Дед Николай, каких трех-то святителей?

Дед сначала только косился. Ответить не мог – не знал. А Ванька не отставал:

– Дед Николай, каких трех-то святителей?

– Да вот каких! – вскипел дед и разразился бранью после очередного поклона.

– Вот так молебен закатывает дед! – хохотали у котла колхозники.

За свою непосредственность и горячность дед претерпел в жизни немало неприятных, горьких минут. Рассказывали, в конце двадцатых годов добрался дед пешком до областного центра-города Костромы. Шел девяносто верст, нес на продажу огромную корзину, наполненную куриными и гусиными яйцами. Со всей осторожностью приплелся, наконец, к торговым рядам, что стояли перед главным парком Костромы на крутом берегу матушки Волги. Там, в этом парке, он помнил, в 1913 году, к трехсотлетию дома Романовых (династия последних российских царей вышла из наших краев) была воздвигнута чугунная часовня с устремленными ввысь маковками с ажурными крестами. Дед привычно глянул в сторону часовни, занес руку ко лбу, дабы перекреститься и... оторопел. Вместо маволок и крестов на корпусе часовни, как на пьедестале, возвышался мраморный Ленин. Он, безбожник и царененавистник, и ныне находится на основании памятника царской династии.

Что это? – Мистика или символ? Большевистский вождь стоит, подняв руку, направленную в сторону реки. Если плыть на пароходе со стороны Ярославля, монумент можно увидеть километров за 30.

Но дед шел в Кострому с другой стороны, и чуть не столкнулся с «Ильичем». В растерянности забыл о корзине с яйцами, опустил руки и «хрупкий товар» брякнулся на мостовую. Дед опомнился, и... пошла писать губерния. Мат летел из его рта такой, что ему позавидовал бы любой забубенный боцман с плоскодонной волжской баржи. Стоявший недалеко постовой, поспешил к разгневанному старику, стал выяснять причину нервного срыва его:

– Дедушка, что с тобой?

Увидев перед собой блюстителя порядка, дед не стал запираяться:

– Да вот – показал он на статую Ленина, – загляделся на этого хрена милого. (Здесь словом «хрен» пришлось мне заменить другое слово, из цензурных соображений, – более краткое, начинающееся тоже на букву «Х» – Г.П.)

У постового глаза полезли на лоб. Ленин – «хрен»? Где ему было знать, что выражение «хрен милый» у деда Николая являлось всего лишь безобидным присловием, таким междометием.

Так ли, сяк ли, но оказался несостоявшийся поставщик яиц для голодающих жителей облцентра в кутузке. И каковым бы путем последовал он дальше – догадаться не трудно. На счастье, на первом допросе выяснилось, что сын деда Николая, Василий, подавлял совсем недавно в Ярославле савинковский мятеж. Геройски погиб.

Деда отпустили домой.

Я помню Николая Васильевича после победы над фашистами в 1945 году, за которую вместе с 27 миллионами соотечественников отдали жизни шестеро его сыновей. Помню молчаливого, согбенного, но старательно работающего. К нему подходили со словами сочувствия односельчане. Он отрешенно махал рукой. А как-то услышал страшные дедовы слова при этом: «Погибли и ладно. Меньше хулиганства сейчас».

Когда я стал ходить в школу, то многое узнал о борьбе с фашизмом. Узнал и то, как, вероятно, узнал об этом весь мир, что у итальянского крестьянина Чарльза Деви погибло в этой борьбе семеро сынов. Мы скорбим о них. Но однажды, как молния, меня поразила мысль-вопрос: почему в нашей школе, чья итальянских мучеников, совершенно не говорят о таких же мучениках, но своих, близких, родных, дедушке Николае и его павших сынах-воинах? (Ответа на этот вопрос я тогда не нашел. Нашел после, о чем и писал в своих предыдущих книгах: «По острию лезвия», «Крадущие совесть» и других. Я вернусь к этой теме. Сейчас скажу лишь: нам не было отпущено времени на слезы. Мы должны были, стиснув зубы, как альпинисты, не оглядываясь назад, цепляясь за вот-вот готовую оборваться веревку, ползти, карабкаться в гору, к свету, простору, свободе. Это понимал Николай Васильевич – мой дед по отцу – Г.П.).

Дед чувствовал себя плохо. Попросил соседей позвать попа, который бы его соборовал. Попа пригласили. Батюшка, совершив обряд соборования, присел к столу, где было припасено угощение, выпил. Дед лежал на деревянной кровати, глядел-глядел и не вытерпел:

– Налей-ка и мне рюмочку.

Да и жил после этого еще более пяти лет.

Он умер после пожара, возникшего в результате оплошности дедова соседа. Тогда сгорело полдеревни. И в первую очередь, дедов дом со всеми пристройками, овцами, курами, коровой. Николай Васильевич поселился у своего брата – Ивана, человека необычайного, женившегося во время революции на княжне. Да, да. Недалеко от нашей деревни находилось село Княгинино – имение князей Бертеновых. Одна из девушек этого рода пошла в народ, стала сельской учительницей. Выжила, благодаря этому, в лихие годы междуусобья. Другую спас брак с мужиком Иваном.

Господи, какие события, какие судьбы всколыхнулись в те годы. Костя Румянцев, краснофлотец, «краса и гордость революции», на руках несет после «гражданской» в глухую деревню капитанскую дочку – потомственную дворянку, свою теперь жену. Несет на руках потому, что дорога к дому – непролазная грязь, а у капитанской дочери на ногах... изящные туфельки.

Потом начнется Великая Отечественная война. И капитанская дочка оденет на свои стройные ноги аристократки сплавщицкие сапоги, уйдет с отпетой артелью «гнать» по реке лес. А Костя погибнет на фронте.

...В морозном дыму под окном бродил зимний вечер. Над крышей овощного хранилища повис обледенелый от холода месяц.

В избе мужики горланили «Ермака».

Дядя Паша, инвалид войны, охрипшим голосом в сотый раз начинал рассказывать соседу:

– Идем мы в атаку... Снег белый-белый, а мы в шинелях, как птицы, трепыхаемся. По нам немец из пулеметов палит. А у меня... нет страха... ничего. Иду, как будто в кино себя вижу.

Сосед тарачил глаза.

– Я – майор! – бил себя в грудь безрукий дядя Генаша.

– Я на фронте был – майоров не видал, – задирался Иван Махов.

Жены, сидевшие рядом, растаскивали, готовых было вцепиться друг в друга друзей.

– Ребята, ребята, закусите, – и совали то пирог с картошкой, то капусту.

Наутро, не глядя друг другу в глаза, сходились вместе на работе, курили. Потом начинали толковать о том, что пишут в газетах, о том, что народу в деревне мало, земли плохие, о том, что надо, например, подрубить дом, а не на что и нечем. А деревня распадается. Молодежь начинает уходить. А девчонки и ребята еще в большинстве своем поют песни Исаковского, на посиделках пляшут под гармошку трепака, смотрят кинопередвижку и много довольны. И работать бы им в удовольствие, в коллективе, оплачивали бы получше труд только.

...Дядя Вася пил чай и смотрел телевизор (в деревне их стало через дом). К нему заглянул бригадир полеводства Михаил Яблоков.

– Васюх, завтра с бригадой не сходишь сено покосить?

– Постеснялся бы, Михайло, уж сколько лет как я на пенсии, а ты каждый день меня наряжаешь на работу.

– Так что тебе рубль лишний, что ли?

– А что мне рубль, у меня пенсия не плохая, проживу, не охнув.

На покос дядя Вася, конечно, пошел. Знает: народу молодого нет в деревне. Так бабы, пенсионеры ходят, выручают колхоз работой. Прикипели их сердца к земле. А с молодежью беда – и заработок большой в колхозе, а не остаются.

Ходит дядя Вася и думает: почему же так случилось. Дай-ка бы нам, размышляет, такие условия раньше – горы бы свернули. Подумает-подумает да и вспомнит, что сам всем своим сынам твердил одно время: езжайте в город. Испугался дядя Вася неудач того времени.

А в деревне благодать.

Собирается вечерами старичье.

– Скажи, Иван, ну, какого дьявола твоя Марья уехала в город? Денег она больше, чем доярка в колхозе, все равно не заработает, в кино чаще, чем здесь, не ходит.

– Кто знает? Я что ли, или вон Петр? Вообще-то, моей Марье действительно трудно вернуться. Она там замуж вышла. Муж городской. Бабе мужика уговорить все-таки не легкое дело.

Молчат. Потом снова:

– Ну ладно, наши ребята еще когда ушли. А вот у Пашухи-то совсем недавно, уж при хорошей жизни. Почему бы это?

Пашуха чешет затылок, как будто и говорить не собирается, а потом и заявляет вдруг:

– По инерции.

...Солдат Володя Тошakov демобилизовался из Армии в июне. Ехал и радовался – есть время еще проштудировать учебники в спокойной обстановке. Потом...

Демобилизованного встретила вся деревня от мала до велика. В честь его был дан банкет. И не такой банкет, который по Аркадию Райкину поллитрой зовется, а с провозглашением тостов. Основным из них был тост упомянутого ранее бригадира полеводства Михаила Яблокова.

– Пью за то, что нашего полку прибыло!

«Да уж, какой полк здесь, дядя Миша», – хотел было заспорить солдат, но из такта смолчал.

На другой день ходил Тощакوف по полям, по лугам. Смотрел, дивился – хлеба в полях намечаются тучные, травы в лугах плотные.

– Богатый урожай, – говорили ему дома, – а убрать вряд ли рук хватит.

– Пишут в газетах, призывают молодежь на село! – говорили Тощакوفу в другом месте, – а только к нам молодые люди все еще не прибывают. Погостить наши дети на родину едут с удовольствием, а работать на родной земле не хотят.

«Не погостить только, – подумал вдруг почему-то Володя, – просто трудно всегда человеку вдали от родных мест».

Мысли бродили несвязанно, лезли в голову неизвестно где услышанные слова: «Ногами человек должен врасти в землю своей родины, но глаза его пусть обозревают весь мир».

...Сенокос в этом году затянулся. Дожди, дожди. Был конец июля, Тощакوف так и не поехал никуда сдавать вступительные экзамены. Ходил с бабами, с мужиками, как только налаживалась погода, на покос. Ворошил, возил, метал в стога колхозное сено.

За солдатом бегали деревенские мальчишки, тоже помогали в уборке. Приезжали в отпуск, на каникулы из разных мест девчонки, парни, и вместе с деревенской «ребятней» шли в поле. Работали весело, споро, как студенты на стройках. Радовалась деревня – могут работать дети. Значит, жив в них крестьянский корень.

Лето кончалось. Приехавшие в отпуска, на каникулы уезжали к себе, обещая на следующий год прибыть и снова поработать в колхозе.

Тощакوف оставался в деревне. Из молодых колхозников здесь он был пока один.

* * *

Об этом писал я, повторю, более чем полувека назад. Написанное печаталось в районной газете – органе РК КПСС и райисполкома.

А вот другие находки в старом портфеле.

Кто-то проклянет...

– Васька! Олух ты этакий, пойдешь домой или нет, кому я говорю?

Бабушка Варвара, так в деревне звали вдовую женщину – мать четверых детей, в хлопчатобумажной косынке на голове, в овчинной шубе со сборами какой уж раз выходила на крыльцо дома и кричала в сторону Яблоковой горы, где в куче сорванцов толкался ее «непутевый сын» Васька. Васька – 15-летний малый, «плут» и «оказье», по словам матери, никак не хотел отозваться на оклики, ибо знал заранее, что дома его ожидает, во-первых, трепка, а во-вторых, насильственная долбня школьных учебников.

Васька рос вольницей, «баловником», учиться не хотел. Мать, выводимая из терпения Васькиным равнодушием к школе, частенько грозилась отдать его в пастухи. Но Васька против ничего не имел.

Прошное лето он уже был подпаском у Мишки Барана, стерег с ним овец и коз, ходил «по чередам», и это ему нравилось.

...Видя, что от «учебы» для парня никакого проку, мать, не дав доучиться сыну до конца в 7 классе, отдала-таки его по весне в пастухи в соседнее село. Когда его «рядили» в пастухи, выговорила она ко всему, чтоб ее сына сельские мужики кормили, как и раньше поочередно за все время пастьбы.

В селе, где пастушил Васька, была церковь «Михайла-Архангела», служил в ней отец Паисий, благочестивый старец. Кроме исполнения службы, отец Паисий занимался огородничеством, пчеловодством на отведенном ему участке земли и держал трех овец. Овец по особому договору он летом отдавал под надзор сельского пастуха. И потому Васька, соответственно условиям, бывал «на череду» и у батюшки. Кормежка у отца Паисия была не ахти какая важная. Так, ни рыба, ни мясо. Вероятно, Васька попадал всегда как раз в те дни, когда скромное в доме батюшки есть считалось грешным.

Запомнился Василию в связи с этим такой случай. Как-то, обойдя по кругу всю деревню, примерно через месяц он пришел на постой снова к отцу Паисию. В обед, подав «холодное» (так в наших местах называли окрошку), матушка – жена попа – положила перед Васькой зачерствелый до невероятности и обкусанный с краев кусок хлеба.

– Это ты, Васенька, в прошлый раз не доел.

...«Насолил» батюшка Ваське и еще раз, через год, когда Василий работал в колхозе рядовым.

Однажды бригадир, Михаил Ветошкин, нарядил молодого колхозника Смирнова Василия расчищать «ладонь» около овинов. Накануне Василий ходил на «зорянку» в соседнюю деревню, пришел домой под утро и, ясное дело, не выспался.

К полудню вконец разморенный, он перебрался в тенистое место и уснул. И как на грех проходил мимо отец Паисий. Нелегкая носила его на поле с гречихой, что было по соседству с овином, и с которого пчелы поповские носили нектар в ульи. Увидев спящего богатырским сном Василия, он не удержался и при встрече с бригадиром Ветошкиным поведал об этом.

Михаил был человеком с юмором и записал в трудовой книжке Смирнова в этот день следующее: «За лежку на «ладони» – 15 соток».

Василий, узнав, кто его так гнусно предал, задался целью «отомстить», наконец, отцу Паисию за все.

Зимой, под Николин день, Василий, одев новую рубашку, глаженные брюки и новую тужурку, направился вместе с прихожанами к «Михайлу-Архангелу». Отец Паисий, увидев Василия с покорной миной на лице в лоне церкви, немало удивился.

– В духовную семинарию мечтаю поступить, отец Паисий, – кротко объяснил батюшке Васька, – хотел бы получить рекомендацию от церковно-приходского священника.

Церковно-приходской священник отец Паисий нутром почувствовал, что здесь кроется неладное и, понятно, никакой рекомендации не дал.

На Николин день Васька сидел в чайной и мудрил над какой-то замысловатой бутылкой из-под заморского вина, на горлышко которой был навинчен довольно большой посеребренный крест, сверху до низу просверленный. Заказав буфетчице Нюре стакан красного, Васька не выпил его сразу же, а сначала перелил его через крест в бутылку. Затем уже снова через крест налил вина в стакан.

– После этого пить совершенно безгрешно, – пояснил Василий обступившим его зевакам.

За этим «святым» занятием и увидел его отец Паисий, зайдя в чайную после обеда.

... В эту зиму Васька много читал, готовился на курсы счетоводов. Мать, попрекавшая его ранее за нерадение к учебе, теперь попрекала в обратном: жалела Васькины глаза. А особенно ей было жаль керосину, который Василий сжигал в лампе, засиживаясь до полуночи. Ваське помогли тут восковые свечи, которые он прихватил вместе с крестом в церкви у отца Паисия под Николин день.

К тому же Василий начал писать лирические стихи, которые немедля, отправил в редакцию газеты «Буйский ударник», в простонародье называемую «Буйский урядник». Из редакции ответ был краток: «Стихи у вас получились не те (тогда не лирика нужна была – Г.П.), попробуйте писать в прозе». Не попробовал.

Возможно, помешала начавшаяся война, на которую Василия забрали по всеобщей мобилизации. В сорок же первом году он «пропал без вести». Младшая Васина сестра Вера, спустя годы, сказала на этот счет: «Не пропал Василий, он, наверняка, в плен сдался, чтобы не воевать, а потом, после войны, домой вернуться побоялся».

P.S. Прошли годы. Умерла мать Василия, брат, прошедший с боями от Москвы до Берлина, сестры Мария и Вера. А я – открою тайну – являвшийся Василию племянником по матери, жил и работал в Москве. Приехав однажды в родную деревню, где не было уже никого из кровной родни, услышал молву: будто бы приходило на имя бабушки Вари письмо – никак из Австралии, да поскольку адресат выбыл давно в мир иной, письмо то ли пропало, то ли обратно вернулось, откуда пришло.

Выяснить, что бы это значило, мне было «не досуг». Тем и оправдывал я тогда причину – неубедительную – своего непорядочного действия, вернее бездействия. Кто-то за это проклянет меня. И правильно сделает...

Люди в прошлое влюблены

Зимнее ранее утро. Базарные ряды на площади нашего районного центра Буй-города. Того самого, упомянутого еще Н. А. Некрасовым в поэме «Кому на Руси жить хорошо»: – «Кабак, тюрьма в Буй-городе». В эту тюрьму засадили некогда Савелия-богатыря святорусского за то, что он «немца Фогеля живого закопал». А нынче вот крестьяне из окрестных деревень распродают здесь привезенную с личных подворий снедь: картошку, морковку, лук, свеклу и прочее, прочее. В колхозе денег не платят, а налог государству и страховка исчисляются в денежном выражении. Да и ту же телогрейку, портки и рубашку не купишь за просто так. Стало быть, и толкуются крестьяне-колхозники каждый базарный день, а это четверг и воскресенье, не дома в деревне, а в городе. Нередко и мы, крестьянские дети, составляем компанию родителям своим, стоим за прилавком.

Я, кстати, восьмиклассник, человек уже образованный, знающий, зазываю сейчас горожан на свою сторону (мать побежала до промторга, где выкинули дешевенький ситец), объясняю городским покупателям вдохновенно и увлеченно сколь полезен для сердца, зубов и желудка товар мой – отборный чеснок. В азарте не замечаю, что кто-то, стоя неподалеку, в сторонке, внимательно наблюдает за мной, бойким просвещенным торговцем. Кто-то – школьный учитель истории, Борис Иванович, приехавший в город, чтобы посмотреть в кинотеатре «Луч» новый художественный фильм (когда-то еще дойдет он до нашего глухого края), посетить районную библиотеку, посмотреть журналы, газеты.

– Ну и ну, – не выдерживает школьный историк, подходя к ученику, т. е. ко мне: – ни дать ни взять: Алексашка Меньшиков.

Борис Иванович, до кончиков ногтей городской человек, романтично настроенный, посланный в школу нашу по распределению, видел окружающую сельскую действительность в розовом цвете, но нами был очень любим, любим за открытость, душевность, за умение с юмором, а не с ожесточением смотреть на наши проказы, граничащие порой с хулиганством. Помню, мой одноклассник, Юра Колесников, отвечал на уроке на вопрос, какие-такие жесткие меры предприняли впервые в истории для населения англичане во время Англо-бурской войны? Юра, вообще-то знает, что это было создание каких-то небывалых до селе лагерей, но выговорить замысловатое слово не может, и вместо лагеря концентрационного у него получается концентрический. Все хохочут и учитель вместе со всеми. Утирая слезы, он обращается к Юре:

– Что же мне делать с тобой, Колесников?

– Да посадите его в концентрический лагерь – и вся недолга, – язвительно подсказываю я. Новый взрыв хохота. А учитель? Учитель тоже, похоже, по достоинству оценил предложение-шутку. Ни нотаций не стал читать мне, ни одернул грубо.

Мне вспомнился наш историк, однако не потому, что окрестив когда-то меня Алексашкой Меньшиковым, он как бы предрек судьбу мою, что с непонятной, незримой, космической силой вела замурзанного деревенского мальчишку к высотам государственного управления (последняя должность моя – начальник отдела Администрации Президента России – ведь это не шутка), – я вспомнил Бориса Ивановича как прототипа своего в какой-то мере по характеру и взглядам на захолустную деревню. Я, как это ни странно, смотрел на «селянскую» жизнь с улыбкой, влюблено и романтично, хотя сколько там было всего – грязного, грубого, спорного.

...Ходит по утрам, наряжая на работу колхозников, пьяненький бригадир дядя Паша Виноградов. А пьяненький-то дядя Паша почти всегда. Наверное, глядя на него, разразиться бы надо гневной тирадой, но нет, умиротворенно смотрю я на бригадирскую слабость, вспоминая слова жены его, тетки Лиды:

– Когда мой Паша умрет, его без бальзамирования, сразу можно положить в мавзолей – проспиртован.

Другой фигурант: Вася Коромыслов, напился, свалился в заиленный пруд. Вытащили его, сняли грязную одежду, обрядили во что пришлось: сухие ветощаненькие штаны, в залатанный пиджачишко:

– Иди, иди домой, Вася, жена будет ругаться, скажешь: не пропил, мол, не прогулял, новый костюм приобрел.

Проиленную одежду гуляке завернули в газету, с чем под мышкой и плелся он по деревне под веселыми взглядами соседей, приговаривавших:

– Свой-то костюм бережет Василий, в газетке носит.

А вот другая картина. Мишка Кашин (по прозвищу «Крепкий»), деревенский удалой гармонист, после шальной гулянки в соседнем селе возвращается зеленым лугом домой. На лугу – деревенские гуси. Мишка ловко цапает одного. Открывает крючки на планках гармошки (крючками к планкам крепятся мехи музыкального инструмента), ловко засовывает гуся в ребристую полость. Защелкивает крючки и, пилякая какую-то мелодию, спокойно проходит мимо хозяйки «гусиного стада» в сторону овинов, где муж той же хозяйки, Иван Куков, топит специальные печи для просушки зерна.

– Иван, – окликает его блаженно Мишка, – ставь бутылку, будем гуся жарить.

Спустя некоторое время, Мишка и истопник урчат, как жирные коты, над запеченным гусем. Выпивают, закусывают. Иван похлопывает лихого гармониста по плечу:

– Ох, Мишка, ох, плут.

А вечером дома слышит он стенанья хозяйки: гусь пропал. Тут до Ивана доходит: ведь он его с Мишкой-прохвостом съел. Скормил своего гуся, да еще и бутылку нахалу за это поставил.

Тут вообще-то мне хотелось бы сделать некое отступление – сказать свое слово о дружбе с «зеленым змием» односельчан моих в середине 20 века и жестоком алкоголизме, поставившим на грань вымирания народ наш, теперь. Я не оправдываю тех, кто пил тогда, не ставлю в пример их сегодняшним, потерявшим человеческий облик пленникам «свирепого джина». Мне хочется сказать, что в моей деревне, к примеру, абсолютно не знали до начала сороковых годов горячительных напитков – о самогоне слыхом не слыхивали. Пиво – солодовое, домашнее, темное, очень близкое по качеству и свойствам к средневековой медовухе, да, варили. Делалось оно (хорошо помню дедовскую технологию) так. Сначала проращивалось ячменное зерно. Когда оно набухало, давало росток, входило, что называется, в пору особой жизненной силы, его подсушивали и мололи. Получался солод – основа пивной закваски.

Этот солод укладывали слоями в огромные глиняные горчаги, чем-то напоминающие греческие амфоры или кавказские винные кувшины – только без узкого горла.

Дно горчаг устилали ржаной соломой, которой потом перемеживали и слои солода. Содержимое заливали чистой водой, взятой из самого глубокого в деревне колодца. В каждую горчагу заливались, примерно, около двух десятилитровых ведер жидкости. Затем горчаги ставились на ночь на кирпичный «под» протопленной печи. Пиво варилось. Сваренным его поднимали на «желоба» – длинные тесины с продольными углублениями, которые ставились наклонно на деревянные подставки. У горчаг внизу были отверстия, кои затыкались при варке. А после установки емкостей на желоба – их выдергивали, и сваренная густая консистенция, называемая суслон, стекала в подставленный под тот или иной желоб лагун – огромную деревянную бочку, заклепанную снизу доверху. Наверху лагуна находилось небольшое отверстие, через которое в бочку засыпали ягодные дрожжи и головки хмеля. Хмель у нас рос диким образом по берегам реки Тёбзы. Но деревенские пивовары предпочитали хмель выращивать сами на огородах. Помню, почти у каждого хозяина стояли, как воткнутые пики былинных дружинников, высокие шесты, обвиваемые зеленым, с терпким запахом, растением.

Суслон в лагунах бродило, пена «каблуком» рвалась наружу через отверстие наверху.

Кстати сушлом, несброженным, угощали в праздники и нас, ребяташек.

Не было лучше лакомства. А перебродивший напиток (пиво) подавался гостям, к застолю. Подавался в деревянных ковшах – «братинах», которые шли среди гостей по кругу. Кстати, хмельная влага не будоражила психику людей, не рвала душу, не погружала ее в отчаянную злобу или депрессию – она пробуждала в человеке какое-то миролюбие, желание повеселиться, потолковать с соседом. О, сколько интереснейших разговоров удалось мне подслушать за такими застольями в детстве! Записать бы их, да ума не хватило, воспроизвести сейчас – не один бы, свой уже, «Тихий Дон» можно было создать.

После пивного охмеления человек обычно спокойно засыпал, а поутру совершенно не испытывал специфического синдрома.

Горчаги снова заливались водой. Содержимое, выдержанное в них, шло в дело тоже, – превращалось в квас, великолепный, ядреный, шипающий в нос. Его еще приправляли протертым хреном.

Самогон пришел к нам после войны, оставшиеся в живых бойцы, инвалиды без рук, без ног, с ранениями головы глушили физическую и душевную боль суррогатным крепчайшим пойлом, к которому посредством «наркомовского пайка» приучились еще на фронте. «Ох, война, что ты сделала, подлая...»

Молодое поколение, родившееся в конце 30-х годов, кумирами коего были фронтовики, увы, неосознанно, но потянулось тоже к «злодейке с наклейкой». То была, правда, пора, когда водка пила, говоря словами Твардовского, не потому что хороша – для славы. Не испорченный ранее, с хорошим генофондом народ не узрел тогда в этой вползающей в светлое нутро русского человека беспощадной, разрушительной силы, равно как спустя несколько десятилетий, не поняли мы в начале великой беды, творимой оголтелой демократией.

Над выходками пьяниц, мы частенько в те, не столь далекие времена просто подшучивали, рассматривали их как анекдот какой-то, не судили строго. И сами, попадая в хмельные переплеты, не очень-то переживали и раскаивались.

Но лиха беда – начало.

Люди, в организмах которых от рожденья дремал ген алкоголизма, расчесав его, как рану, стали довольно быстро спиваться, гибнуть. Те же, кто не носил в себе коварного динамитного заряда, опустошали тело и душу постепенно, долго, а пока продолжали под снисходительные взгляды окружающих куролесить, веселиться, вовлекая в свой круг все большее и большее количество «непосвященных». Вскоре стало казаться, что эти граждане составляют как бы ядро общества, правят им – как лидируют ныне в определенных высоких сферах люди нетрадиционной половой ориентации на Западе. Да и застолья на всех уровнях становились нормой, а напоить, скажем, приехавшего большого начальника на предприятие ли, или в регион вменялось чуть ли не в обязанность подчиненным. Противиться этому не хватало никаких сил. Да что там, депутат Верховного Совета СССР, трезвенник, старовер, Герой Социалистического труда, гремевший на всю страну полевод Терентий Мальцев, получив для реализации в особой секции ГУМа список продовольственных товаров, увидев, что среди них разных сортов водка значится в десяти позициях, ринулся с этим списком ни к кому-то – самому Генсеку ЦК – тогда Юрию Андропову. Тот, взглянув на алкоголизированный перечень, удивился немало, поинтересовался: сколько же вообще у нас в стране потребляется этого спирта на душу? Ему привели статистику. Генсек многозначительно посмотрел на Терентия, который лишь прошептал:

– Господи, Юрий Владимирович, страна-то у нас под наркозом. Не пропасть бы, как империи Майя.

И меры для спасения нации, советского народа стали немедленно приниматься. Сорвал их неразумными действиями перестройщик-катастрофщик «Лимонадный Джо», отмечающий юбилейные даты свои теперь не в родном, преданном им Отечестве, а за рубежом, у «заклятых друзей».

Оглядывая свой собственный жизненный путь, карьерный рост с сожалением приходится констатировать, этапы большого пути сопровождались, увы, попойками, тесным общением с людьми пьющими и наливающими. Вначале все это смотрелось, повторю, забавно и весело.

Вспоминаю момент зачисления меня, корреспондента районной газеты, в штат областного партийно-советского печатного органа. Редактор Александр Бекасов (Албек, так называли его коллеги-журналисты) беседует со мною прежде, чем отдать соответствующий приказ.

– Последний вопрос, Геннадий, водку пьешь?

Что ответить? Сказать, что не пью, не поверит, признаться, что употребляю – можно и повредить себе. Мнусь, пожимаю плечами:

– По обстоятельствам, Александр Петрович.

Бекасов с интересом глядит в мою сторону и вдруг дает вводную:

– Посылаем мы тебя, скажем, освещать ход отчетно-выборного собрания в колхозе. Там по окончании, конечно же, организуют ужин, корреспондента пригласят, разумеется. Будет выпивка. Каковы твои действия в таком случае?

– Сяду рядом с большим начальником, – соображаю я быстро, – и стану смотреть, как он поступает. Выпьет рюмочку и я выпью.

– А если он выпьет вторую?

– И я вторую.

– А если третью? – Албек вскидывает брови.

– И я третью, – подхватываю, не моргнув глазом.

Редактор в смятении продолжает:

– Ну, а если он четвертую выпьет?

Я хитро улыбаюсь и, не торопясь, произношу:

– Вот тут мне надо подумать.

– Правильно! – радостно поддерживает нового находчивого сотрудника Александр Петрович. – Думай, у начальника-то машина есть, а у тебя нету.

Вечером на берегу реки Оки в шалмане «Голубой Дунай», в каждом городке были подобные заведения тогда, обмываем с коллегами, старшими товарищами мою новую должность – собкора областной газеты. Рассказываю о беседе с редактором. Коллеги-наставники внимательно слушают, и когда в рассказе дохожу до того места, где ограничиваю себя в выпивке четвертой рюмкой, Вася Шапкин, матерый журналиста, с рубильником-носом назидательно произносит:

– Гена, норма областного корреспондента литр.

Надо, однако, сказать: в областной газете решил я начать новую жизнь, от выпивок всячески уклонялся. И вскоре новые сотоварищи пожаловались на меня моему бывшему редактору из районной газеты.

– А твой протеже и не пьет вовсе.

Кузькин Михаил Гаврилович (литературный псевдоним Михаил Воронежский), мой недавний непосредственный начальник, в компании с которым пришлось провести немало развеселых минут и часов, нашелся-таки, что ответить на «укоризну»:

– Это я ему не велел. – Произнеся сие весомо и внятно, он, как понимаете, и меня не подвел и себя не опустил.

Поэт милостью божьей, член Союза Писателей СССР, рецензии на творчество которого писал в центральной прессе даже Виктор Астафьев, очарованный его даром (да и как не плениться такими, скажем, стихами:

*«Прикосновения ладони,
Боящиеся, словно ос,
Весною в степи рвутся кони,*

Туда, где травы в полный рост»), –

Михаил Гаврилович, как и многие широкие, поэтические натуры был, чего греха таить, слабоват по части горячительного. Много знающий, обладающий неиссякаемой фантазией, где реалии, как в рассказах лицейского друга А. С. Пушкина – Кюхельбекера, зачастую тесно сплетались с невероятно похожим на правду вымыслом, в который он верил и сам – Кузькин-Воронецкий был главной фигурой на всех творческих вечерах, встречах с писателями, устраиваемых тогда в огромном количестве и на предприятиях, и в колхозах, и в совхозах. Благодаря тому же Кузькину, имевшему массу друзей среди поэтов, к нам в Медынь (там располагалась районная редакция газеты «Заря», где мы работали) на «лоно природы» частенько приезжали столичные знаменитости. Безусловно, их тут же «брали в плен» директора то ли нашего льнозавода, леспромхоза, или какой-либо сельскохозяйственной артели. Начальники вели «пленников» в клуб – в массы, и начинался общий праздник с обильным хлебосольем, откровениями-выступлениями. Тогда еще вездесущими представителями особого рода деятелей далеко не везде были созданы платные, прибыльные только для них, многочисленные агентства по пропаганде литературных знаний, и те же писатели, приезжавшие к нам, довольствовались в основном радушием и обожанием народа. Но, вероятно, это стоило дорогого. Помню, я тогда уже работал в областной газете, как «нарисовался» у нас в Калуге агент-пропагандист с особым нюхом на шальную деньгу Александр Гольдберг и как Анатолий Ткаченко, известный литератор, проживающий в городе атомщиков Обнинске, нутром почуяв, во что будут превращены бывшие безденежные, душевные встречи с тружениками, простыми людьми (в клон бездуховного агитпропа), заявил в сердцах и по поводу предпринимателя-просветителя: «Пока этот делега крутится в калужском писательском отделении, – я туда ногой не ступлю».

Но все это будет потом, а сейчас председатель колхоза имени Ильича Иван Петрович Гуч с клубной трибуны голосом Левитана, манерно, торжественно объявляет собравшимся здесь односельчанам:

– Друзья! К нам приехали в гости великие поэты современности Старшинов Николай, Воронежский Михаил, – косится в мою сторону и, ничтоже сумняшеся, столь же высокопарно добавляет, – Геннадий Пискарев.

Публика распрекрасно знает Геннадия Пискарева: мои заметки в райгазете – под собственной фамилией и под псевдонимами печатаются в каждом номере по несколько штук. Так, выходит, Пискарев-то еще и великий. Девчонки-селянки не сводят с меня, холостяка, восхищенно-влюбленных глаз. Ко всему в распространяемой тут же «Заре» напечатаны стихи колхозного агронома, грузина Нукзара Папашвили, отрабатывающего после окончания Тимирязевской академии положенный срок в медыньском хозяйстве. Под стихами написано: перевод с грузинского Геннадия Пискарева. Да... Не каждое девичье сердце устоит перед этим. Милые простушки, где им догадаться, что в грузинском языке я ни бэ, ни мэ, а стихи с начала до конца написал без подстрочника, уловив просто напросто смысл, заложенный в них грузином Нукзаром.

Но, тем не менее, и собравшиеся, и мы в эйфории. И более всех, кажется, Михаил Гаврилович. Слышу: в следующий раз он обещает колхозникам привезти на встречу с ними, ни много, ни мало, – самого Юрия Гагарина.

– Я с ним, если хотите знать, – вещает разговорившийся редактор районки, – на днях, будучи в Москве, выпивал. Да, да, сидели мы в гостинице с другом моим, комендантом Кремля, чего-то скучно стало, он и говорит, позову-ка Юру сюда. И позвал. Тот быстренько подскочил, тяпнули по стакану, по второму, третьему. По четвертому наливаю, Юрий деликатно останавливает: «Извините, я сейчас на встречу с пионерами еду. Буду в Медыни – погуляем».

Ясное дело, не приехал Гагарин к Кузькину, но рассказ его потряс тогда всех. И потом, где бы ни появлялся мой начальник, зазывали его в гости весьма убедительно: «Миша, заходи, Гаврилыч, дорогой, ну, хоть соврешь, не дорого возьмешь, душу порадуешь».

После нередких таких радований приходил редактор поутру в свое заведение сильно «смурной». Мой стол, ответственного секретаря редакции, находился перед его кабинетом. Кузькин шагал мимо, не глядя в мою сторону. Из кармана брюк Гаврилыча, бывало, торчала бутылка – для опохмелки. Ловким движением бутылку эту я незаметно выуживал. Через некоторое время из кабинета руководителя раздавался вопль:

– А-а-а, редактора не уважают, водку воруют!

Приходилось идти, отдавать заветную. Кузькин добрел, созывал планерку. Наскоро проведя ее, подносил всем и себе по стаканчику. По второму каждому уже не хватало. Кого-то, стало быть, надо было «уволить». Лучше всего это можно было сделать посредством посылки отчисленного в командировку. При этом аванс, полученный в бухгалтерии, по не писанному правилу сдавался «буфетчику» – Ивану Уткину, заведующему отдела писем редакции, в прошлом директору Медынского молокозавода, проштрафившемуся в чем-то, но из «обоймы» райкомовской номенклатуры не выкинутого. А аванс на командировки являлся основой специфического фонда, хранителем и распорядителем коего значился «буфетчик» Уткин.

Однако, кого послать в командировку в данный момент в ближайший колхоз, на проезд куда денег тратить не нужно: – можно пешком дойти, а пообедать и поужинать у гостеприимных селян? Выбор падал, как правило, на самого молодого сотрудника – Гену Харлампиева. Кузькин поторапливал: «Давай, давай, Геннадий, иди, не мешкай». Геннадий, вожаделенно поглядывая на остаток спиртного в бутылке, не торопился, надеясь на «посошок». Наивный малый, никак не мог «дотумкать» он: его потому и отсылают в колхоз, чтобы оставшимся здесь побольше досталось.

Неспешность Гены гневил редактора. В конце концов он не выдерживал и грохал кулаком по столу:

– Да ты пойдешь в командировку или нет!?

Видя, что ничего «не выгорит», Харлампиев понуро плелся к двери.

Гену в редакцию взяли за стихотворство, а так до этого, числился он разнорабочим на мебельной фабрике. Помню, обмывали его вхождение в творческий, богемный коллектив. Выпили, что было – не хватило. «Гена, беги». Магазин напротив редакции. По типу сельмага продается в нем одним продавцом все имеющиеся товары – от керосина, гвоздей, сигарет и спичек до хлеба, сахара и вина. Рядом с торговой точкой райком партии. И надо же было случиться: в то самое время, когда снарядили мы Гену за водкой, в лавку заглянул первый секретарь РК КПСС Виктор Степанович Анискевич: кончились у него папиросы. Люди, стоявшие в очереди, кто за чем, почтительно расступились, что возмутило нашего нетерпеливого работника-гонца, болтавшегося в конце и не знавшего, увы, в лицо главного районного начальника. Гена поднял, что называется, «хай». Анискевич оторопел:

– Я штучный товар беру: папиросы, – как-то обескуражено стал он оправдываться.

– Мне тоже штучный товар нужен – бутылка, – моментально дерзко парировал глашатай справедливости.

– Ну, что же, берите, а я потом, – Анискевич виновато попятился от прилавка.

Чем правдоруб Гена незамедлительно воспользовался, чуть ли не вырвав из рук у растерявшегося продавца злополучную поллитровку.

Только мы разлили ее, как у Кузькина зазвонил телефон. Звонил первый (он проследил, что было нетрудно, куда шмыгнул нахаленок):

– Михаил, это у тебя, что ли работает рыжий черт?

Да-а-а... Пассаж. Оргпоследствий, тем не менее, из всего этого не последовало. «Отец Виктор» – так звали в народе первого секретаря Виктора Анискевича (между прочим жил в

Медыни еще один «Отец Виктор» – тезка партбосса – настоятель местного храма), знал натуру людей, с коими вместе шел в светлое будущее, знал, и палки в работе с ними не перегибал. На этом уровне партия и народ были в ту пору едины все-таки. Можно назвать сие как угодно – всепрощением, вседозволенностью, но... Начав свое повествование с размышлений о пристрастии советских людей к «горячительному», начав, как говорится за упокой, и продолжив будто бы за здравие – обязан заметить, что пили наши люди на том этапе развития своего, в отличие от нынешних времен, не от отчаяния, не от жестоких проявлений постоянно преследующей всех и вся катастрофы, а от избытка жизненной энергии, внутренней уверенности: живется не плохо, а вскоре станет – лучше. То было наше время и кругом находились в основном наши люди.

Затем, когда грянула черным громом беда – катастрофка, люди, помня, как налаживали они гармонию в душе посредством потребления хмельного, попытались тем же самым образом вернуть ее, убегающую теперь, назад. Но на дворе стояло другое время, плескались другие напитки, галдели другие люди – выпивка не грела душу. Несмотря на все увеличиваемые дозы, она сушила сердца, ожесточала их, убивала тело. Началось национальное бедствие, всеобщее помутнение разума, добровольное сумасшествие.

Пытаясь восстановить в памяти происшедшее в жизни за последние двадцать пять лет, ловлю себя на мысли: они все перемешались в кишащем «броуновском» движении, беспрестанном кровавом кроссе, слились в жуткое темное пятно, нечто вроде малевичевского черного квадрата.

«Тайна – творение знака, а знак реальный вид тайны, в котором постигается таинство нового... Служитель (нового – Г.П.)... образует возле и кругом себя пустыню, многие боясь пустыни, бегут еще дальше в глушь сутолоки!» Это, между прочим, слова самого Малевича, неплохо, кстати, характеризующие устремления «квадратного» художника-демократа, востребованного нынешними передельщиками в качестве разрушителя жизни, артиллерийского залпа, заставляющего обстреливаемых людей вжаться в землю своего окопа и сидеть там, скрючившись, не поднимая головы.

И странно, но прямо-таки безобидными выглядят сейчас почему-то события давних лет, те же проделки, творимые нами, когда бывали «навеселе», когда, не боясь ни райкома, ни райисполкома, писали в той же газете, что на душе лежало. И встают перед глазами те годы стройной, четкой и ясной чередой, не свиваясь в червивый, грязный комок теперешних дней.

...Иван Иванович Сорокин, директор совхоза «Мятлевский» – ярый в районе антикукурузник. Совещание в райсельхозуправлении. Реплика из зала: «Иван Иванович кок-сагыз у себя сеять готов, лишь бы не кукурузу». Хохот невероятный.

Надо сказать, что совхоз «Мятлевский» специализируется на выращивании овощей: томатов, огурцов. К концу лета, в начале осени жители Медыни, в том числе и местные начальники, норовят про запас, на засолку прикупить по низким ценам у Ивана Ивановича классные огурчики, кабачки, патиссоны. Пытаются они через некоторое время после злополучного совещания осуществить овощные закупки и ныне. Но Сорокин суров: «Нет у меня овощей. Кок-сагыз только».

Святые наивные души... Виктор Леонов, главный агроном одного из хозяйств, организатор в районе первых безнарядных звеньев. Беру у него интервью, которое ставим в номер спустя после встречи с агрономом через несколько дней. Но, чтобы подчеркнуть столь любимую нами, газетчиками, оперативность, предваряем беседу словами: «Вчера вечером наш корреспондент встретился с Виктором Леоновым». Наутро газету несут в киоски, подписчикам, но в первую очередь в РК КПСС. Там местную прессу штудируют – будь здоров, в чем, на сей раз, мы очень заинтересованы: прочтут материал о безнарядке, разумеется, отреагируют, отметят творческий коллектив. И «реакция» грянула.

– Где это встретился вчера вечером ваш корреспондент с Леоновым? В вытрезвителе, что ли? – гремел гневно в трубке редактора, лишь только появился он у себя в кабинете, голос первого секретаря.

Вот те на! Прославляемый нами новатор вчера, как выяснилось, лихо погулял в райцентре, попался в руки милицейскому патрулю. Понятно, о выходках уважаемого, но непотребно пьяного товарища доложили куда следует. Мы на свою беду о злоключениях агронома знать не знали. Выдали оду ему в печатном органе и насмешили народ, прогневив высокое начальство.

...Николай Стариков, столяр с мебельной фабрики порезал фрезой пальцы на левой руке. Левая – не правая, решили лекари из фабричной медсанчасти и бюллетень пострадавшему не дали. Стариков, молодой горячий парень – к нам в газету. Мы тоже, молодые и горячие, быстро выдаем «на гора» фельетон о бездушии эскулапов, отказавших в больничном листе пострадавшему труженику. Сатирическую направленность выступления усиливаем саркастическим эпиграфом, который звучит внутренним монологом незадачливых медиков:

*Хороша штучка,
Болят ручка.
Есть, пить можно –
Работать – нет.*

Медицина повержена. Мы – на коне. Автору любовь и признание простого народа.

Через несколько дней после этого, шагая вальяжно до хаты довольно поздно, наскочил я на толпу медыньских ухарей-ребят. Им чего-то не понравился мой трезвый вид и приличный прикид. По всем признакам бузотерам очень хотелось почесать об меня свои руки. Наверное, это произошло бы, не раздайся вдруг зычный голос:

– О-О-О! Никак сам корреспондент, что Кольку Старикова защитил, нам повстречался.

Даже в вечерней мгле было видно, как обомлели, расплылись в улыбках подгулявшие парни, разом превратились из кичливых забияк в милых добродушных ребят. Ватагой весело, дружно проводили меня до самого крыльца дома, где доводилось снимать мне угол.

Ох, чего только не случалось тогда. Гена Харлампиев, укоренившись в редакции, мечтает вступить в партию, зазывает редактора в гости к себе, угощает. Жена Гены Юля, крупная, полная женщина хлопочет около стола. Кузькин в поэтическом настроении декламирует вдохновенно:

*Сижу ли я, брожу ли я –
Все Юлия да Юлия.*

Гена считает пора о деле начинать разговор. Но Гаврилыч, помня об инциденте молодого сотрудника с первым секретарем, неподкупно прерывает желание Гены: «Только через мой труп».

А через день, надо же случиться, в редакцию, проезжая из Юхнова в Москву, заскочил столичный поэт Левашов. Понятно, накрыли мы стол, взяли для публикации стихи у москвича. Тот в ответ, подобревший и разомлевший, в свою очередь попросил почитать ему наши произведения. Кое-какие из них взял с собой. В том числе стихотворение Харлампиева о Медыни, в котором рефреном, как песенный припев, звучала строка: «Мед, Медынь, Медынка, медоносы».

Не помню, через месяц или два после заезда к нам Левашова, слушаем мы по Всесоюзному радио концерт, транслируемый из московского Колонного зала Дома Союзов. Объявление ведущего: «Песня о Медыни. Слова Геннадия Харлампиева, исполняет Владимир Трошин!»

Немая сцена в гоголевском «Ревизоре» – ничто по сравнению с тем, что отпечаталось после сего объявления в нашем творческом коллективе. Гром среди ясного неба поразил, думается, всех медынцев, что слушали данный концерт.

«Песня о Медыни», записанная на пленку корреспондентами районного радиовещания, стала впоследствии лирическим гимном города, она предваряла все местные радиопередачи. А Кузькин, припертый к стенке безвыходностью обстоятельств, вынужден был сказать сокрушенно:

– Придется, видимо, брать Геннадия в нашу партию.

Интересные же встречи с интересными людьми продолжали иметь место и в дальнейшем. В один прекрасный вечер, после подписания номера в печать, сидим мы в кабинете редактора, толкуем о том, о сем. Глядь: под окнами тормозит белая «Волга». С обкомовскими номерами! Представительный, средних лет мужчина, с дипломатом в руках выскакивает с переднего сиденья, направляется в сторону редакции. И вот он на нашем пороге:

– Николай, – называет свое имя вошедший. Представляется по чину: – Помощник министра культуры СССР. – Поясняет: – Будучи в облцентре по делам, вспомнил, извините, поэта Алешкина, что был у меня перед командировкой. Заскочи, посоветовал он, в Медынь, к Кузькину, не пожалеешь. Видите, заскочил.

– М-да, – Кузькин делает кивок головой в мою сторону. Вскрываю с места и – к двери. Николай, вероятно, понял, куда поспешил я, останавливает:

– Я прихватил тут кое-что, – открывает дипломат, в котором квакают пара бутылок сухого.

– Несерьезно, – кривится Михаил Гаврилович. Я убегаю и скоренько возвращаюсь с водкой и колбасой.

Чокнулись, выпили, перешли на ты. Прямо, отцы русской демократии. Заговорили легко и свободно, словно старые «друзбаны». Решили выехать на природу, к озеру.

Шумели прибрежные ивы, березы, тихо плескалась зеленая вода у разутых ног, солнце клонилось к западу, рассыпаясь розовыми блестками на ласковых волнах.

Мы читали стихи, в промежутках провозглашая пышные тосты друг за друга. Женщина, пасшая недалеко корову, заслушалась, не вытерпела, подошла к нам:

– Ребята, как вы хорошо говорите-то. Не чета мужикам нашим. Напьются – мат-перемат.

Окрыленные народным признанием и любовью, поднимаем задравную чашу в очередной раз. Но для Николая, не привыкшего, похоже, к возлияниям в таком количестве, чаша сия становится роковой. Он обмякает.

В гостиницу из машины заносим его на руках. Благо служители двора постоянного хорошо нам знакомы, укладываем высокого гостя без хлопот в кровать.

Рано-рано утром, до начала работы, Кузькин примчался ко мне. Распоряжается:

– Дуй за Колей, опохмелить надо.

Бегу. Встретившаяся дежурная умеряет мой пыл сообщением:

– Гость ваш ночью еще съехал.

О-хо-хо. Представляю: очнулся, небось, важный чиновник, осознал ситуацию, схватился за голову и в бега со стыда подался.

Рассказываю о случившемся Кузькину. И тут раздается звонок. На проводе – Анискевич:

– Михаил, из обкома сообщили: к нам будто бы вчера вечером помощник союзного министра культуры выехал. Надо встретить. Культурную программу, обед организовать. Расходы берем на себя.

– А мы уже встретили его с Генкой.

– Как? И что?

– Ничего, водкой напоили, колбасой накормили, уехал довольный.

Слышно, в сердцах Виктор Степанович бросает трубку.

Прошло недели две. В редакцию с почтой приходит пакет с министерским грифом. Открываем – письмо от «друга Коли». И стихи – «Сон о Медыни».

Стоит ли говорить, что мы их сразу же заверстываем на первую полосу. А наутро – звонок от первого:

– Слушай, редактор, что за хренотень ты печатаешь? Такого и во сне не увидишь. Какие это у нас через Медынку, которую воробей вброд перейдет, мосты горбатые перекинулись? Где ты такого ненормального автора откопал?

– Так это же Коля.

– Какой такой Коля?

– Помощник министра.

В трубке молчание.

К концу недели Гаврилыч едет в Москву, везет в министерство культуры Союза несколько газетных экземпляров со стихами Николая – едет в надежде на шикарный прием. Возвращается, однако, будто оплеванный.

– Что с тобою, Михаил Гаврилович?

– Не тем человеком Коля оказался. Повел в министерский буфет, заказал по рюмочке коньячку, кофе. Ну, что это?

– А ты думал, он тебе там поляну накроет. Москва – не Медынь.

– Так-то оно так, – соглашается Кузькин. Но вдруг он сурово сдвигает брови, свирепо вопрошает, вроде бы вовсе не по теме:

– Ты меня боишься или нет?

– Нет, – отвечаю довольно хладнокровно и равнодушно.

– Как? Меня? Редактора, члена бюро райкома – и не боишься?

– Нет.

Гаврилыч обескуражен, смотрит насупившись:

– Ты что – сотрудник КГБ?

К КГБ у нашего редактора отношение особое. Сам, по собственному признанию, «косил» некогда под сотрудника тайного ведомства, когда демобилизовался из армии, в частности, из ВВС, и носил голубую фуражку.

– В лесном поселке, где я определился на жительство, из-за этой фуражки, – рассказывал довольный Гаврилыч, – меня человеком из органов считали, хозяйка угла, который снимал, плату ничтожную брала.

– Но у кэгебэшников фуражки не голубые – темно-синие, – демонстрировали мы свое специфическое знание.

– Кто там, в лесу, различал эти оттенки?

Кузькин, Кузькин... Открытой, добрейшей, широчайшей души человек. Сколько раз вспоминал я его впоследствии, когда волею судеб попал на работу сначала в областную газету, затем в крупнейший печатный орган аграриев – «Сельскую жизнь», а после окончания ВПШ при ЦК КПСС – в главное издание коммунистов – «Правду». Какое счастье, что в начале журналистского пути оказался я в обстановке небывалой свободы чувств, раскованности и человечности, атмосфере, далекой от казенщины, заорганизованности, что и тогда и потом давало беспрецедентнейшие результаты и эффект, особенно ежели приходилось писать о людях и их помыслах. Писать свободно и вольно – как есть на самом деле. Да, мы были всегда под контролем партийных органов. Но и они, видя, что заветное честное слово наилучшим образом воздействует на людское сознание, искренне говорили нам «спасибо». Помню материалы, публикуемые под придуманной нами рубрикой «Товарищу по партии», – материалы, в которых рядовые коммунисты незатейливо, откровенно говорили о наболевшем. Это помогало в итоге через идущие изнутри души порывы сконцентрировать внимание масс на решение огромной важности проблем и задач.

Помню, как в районной газете ввели мы в год пятидесятилетия со дня победы Великой Октябрьской революции правило: в каждом номере давать очерк или зарисовку о человеке, родившемся в 1917 году. Какие открылись возможности – без барабанного боя, не навязчиво и не формально, а по-человечески показать в конкретных жизненных ситуациях конкретного человека, что работает бок о бок с тобой, те победы и лишения, радости и горести, что испытал весь наш народ за 50 лет советской власти. После, когда отгремели юбилейные торжества, мы трансформировали рубрику «Ровесники Октября», в рубрику «О времени и о себе». Рубрику эту заметили не только в районе – во всесоюзном журнале «Партийная жизнь» дан был обзор наших специфических публикаций.

А вскоре в ряде центральных газет, как заметили мы, появились вариации нашего начинания. И поди-ка плохо было нашему РК КПСС от осознания того, что его печатный орган, а вместе с ним, естественно, и райком, гремят на всю страну.

Я пишу о той поре с обожанием, добрым настроем. Пишу, возможно, слишком пространно. Хватило бы и одного двух примеров из лихой той жизни. Но коль уж пришлось заговорить об этом... Понятно, меня можно упрекнуть в ностальгии. Тем более, что в заголовок этой части воспоминаний вывел я слова не всем, быть может, известного поэта Владимира Корнилова – слова из его поэмы «Шофер»:

– Люди в прошлое влюблены.

Кстати, поэма увидела свет на страницах альманаха «Тарусские страницы». Его произвело в 60-х годах Калужское книжное издательство, обеспечив тем самым громадный интерес к себе и собственный смертный приговор. Издательство закрыли. Конечно, не по причине публикации в альманахе «Шофера»...

Однако, это к слову. Говоря же (признаю) довольно сбивчиво о личном прошлом, мне не хотелось, чтобы читатели восприняли его как некую бытовую хронику жизни отдельного человека. Ведь мы, люди, – существа общественные. Стало быть, и память каждого из нас всего лишь частица лавинообразного потока всеобщего человеческого сознания. Стоит ли говорить, что топтать эту память не только преступно – губительно. Наше бывшее – история. Она, это точно, не имеет сослагательного наклонения, и нет из нее выхода назад, но все-таки история эта есть реальный вечный двигатель человечества, хотя научно вроде бы доказано: «Regretum mobile» в природе не существует. На Земле.

На всякий случай, не благоразумнее ли будет как можно осторожнее обращаться с загадочным, даже будто бы с несуществующим механизмом. Помня при этом речения историка Николая Карамзина, призывавшего меньше осуждать подлежащее осуждению и более хвалить достойное хвалы. Чуете, о чем толкует человек, всеобъемлюще охарактеризовавший в свое время положение в России единственным словом: «Воруют!»

И не надо бы забывать то, что сказал еще один великий человек – Василий Белов: «Бесы хают прошлое и хвалят будущее. Оно для них вне критики».

Что верно, то верно: легко хвалить чего нет, и вряд ли будет грядущее таким, каким «рисуют» его те же бесы.

* * *

«... многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладает любовь; претерпевший же до конца спасется».

(Евангелие от Матфея)

Часть II. Дневник прекрасной поры

Удивительно, когда ты молод, полон сил, когда жизнь играет полноцветием красок и чувств, ты меньше всего дорожишь этой жизнью и, кажется, случись смертельная беда, ты, не печалься, не скорбя, примешь ее трагический исход. Но когда перешагиваешь порог молодости, и тебя начинают донимать недуги и боли, заработанные безудержным невосторжеством юности, начинаешь, ну, просто цепляться за это оставшееся, безрадостное, унылое бытие, страшишься неумолимо надвигающейся кончины. И наступает, не могу точно определить, то ли раскаяние, то ли покаяние за былые грехи. Память уносит тебя в былое, заставляет его анализировать. Но, не знаю, кого как, а меня в этом случае вновь увлекает молодость и, перенося воспоминание о ней на бумагу, пишу о прошлом так, как будто заполняю дневник той прекрасной минувшей поры.

Витать в облаках

Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой.

Беранже

Смысл этого выражения, сводящегося к порицанию пустой несбыточной выдумки, в раннем детстве мне, конечно же, был неведом, как неведомо было и само словосочетание «витать в облаках». Но я витал в них тогда чуть ли не самым натуральным образом. Как часто после темного подвала, куда в конце цветущего мая меня запрятывала мать для переборки проросшей прошлогодней картошки, я бежал в бьющий зеленой волной о изгородь нашего сада бескрайний луг или на окаймленную длиннолиственными ивами тихую, ласковую Костромку, навзничь ложился на прогретую радужным солнцем траву или ослепительно белый песок и смотрел, смотрел на плывущие в голубых небесах ватно-мягкие, беспрестанно меняющие свои причудливые формы и очертания облака. Как во взбитую пуховую перину хотелось, неудержимо, до боли в сердце, броситься в эти обволакивающе-обворожительные творения и плыть, плыть куда-то, в далекую, неведомую даль. А однажды в лесу, взобравшись на самую верхушку высокой сосны, окинув глазами колеблющееся зеленое покрывало подлеска, я еле-еле удержался от жгуче-меняющего желания броситься вниз, в эту упругую изумрудную пучину, которая, как казалось мне, что речные волны, может принять меня осторожно и нежно.

Послевоенное детство, в обыденности корявое и скупое, без материнских каких-либо нежностей (где и когда было той же матери моей, вдове-солдатке, растившей двоих сирот, с утра до ночи работавшей на колхозных полях, а после захода солнца на собственном огороде, сюсюкать умильно над своими горе-чадами? Обеспечить бы сносное существование их), оно, это детство расцветивалось, утеплялось величайшей благодатью, разлитой в окружающей нас божественной и вечной природе. И еще: босоногое, рвано-латаное детство мое выпало на великие годы истинного послепобедного ликования. Это было время встреч с настоящими героями войны, немногими вернувшимися с фронта односельчанами, – отмытыми от окопной грязи и пороховой копоти, в начищенных до блеска сапогах и ботинках, перетянутых широкими кожаными ремнями, с красивыми погонами на гимнастерках и кителях с отливающими золотом и огненным рубиновым светом медалями и орденами на них. Я млел, когда в кругу родственников и друзей дядя мой по матери, дядя Костя, двадцатипятилетний капитан-пехотинец, начавший войну рядовым в Брест-Литовске и закончивший ее офицером в Берлине, поднимая бокал с шипучей пивной брагой, гордо вскинув голову, призывно-величественно и самозабвенно начинал вдруг исполнять песню-тост, отчего по спине бежали мурашки и электрический ток бил в самое сердце:

*Вытьем за тех, кто командовал ротами,
Кто замерзал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
В горло вгрызаясь врагу.*

И громом гремел подхваченный всеми собравшимися призыв-припев, возносящий нас будто в небесные выси, где мирское, больнососушее душу бытие как бы тонуло в чувственно-лучезарном торжестве:

*Вытьем за Родину! Вытьем за Сталина!
Вытьем и снова нальем!*

Спустя многие годы, когда мне пришлось работать спецкором газеты ЦК КПСС «Сельская жизнь», я пережил это состояние вновь, стоя около установленного в одной из сельских школ под Ельцом бюста поэту Павлу Шубину – автору слов легендарной песни, кою столь вдохновенно пели в детстве моем земляки-фронтовики. В школьном музее я осматривал личные вещи поэта, деревенского мальчика, ушедшего на войну, читал незнакомые мне до селе проникновеннейшие стихи о родном поселении Чернава, называемого стихотворцем «Родной в подробностях простых», о землячках-девушках «в цветастых полушалках, – встретишь и не вспомнишь об иных». И слушал рассказ о его кончине – «в скверике, поутру, от разрыва сердца». О боже, ведь так же скончался и поэт-фронтовик Алексей Фатьянов, да и до обмирания сердца любимый мною и матерью моею капитан, а впоследствии подполковник Советской Армии, Константин Михайлович Смирнов. Позвонил жене с работы: «Иду домой». – Поднялся из-за стола и рухнул замертво. В пятьдесят лет от роду.

Вспомнился рассказ матери, как после ранения в битве под Москвой, подлечившись в госпитале, приехал Костенька на побывку. Прилег на лавке, рукава гимнастерки закатались до локтя. Смотрит сестрица и не поймет, отчего это руки брата выше кистей как бы ошпарены, затянута красновато-дрожащей кожицей. «А-а, – объяснил проснувшийся красноармеец, – это вши обглодали руки, когда мы в окопах без смены стояли. Кисти-то на морозе: насекомые их не кусали, а закрытое тело жгли не щадя».

Осознание ужаса кровавой мясорубки, через которую прошли наши люди, могло бы опрокинуть в бездну отчаяния, свести с ума кого угодно, если бы... Сейчас говоруны-демократы это называют циничной большевистской обработкой сознания, ложью, и даже величайшим преступлением перед народом, от которого, дескать, всячески скрывали горькую правду, обвивая страну кумачом, гремя победными фанфарами и славными песнями, убирая из людных мест инвалидов, увечных, калек.

Что можно сказать на это? В головах некоторых людей давно, как известно, бродят мысли о том, что природа не любит мириться с уродством. Тут, собственно ничего особенного нет, если бы не шли эти люди дальше, заявляя, как это сделал недавно один врач-психолог: «Здоровые сторонятся и не любят больных, поскольку от последних исходит гнилая разрушительная энергия». И демократы сразу же припомнили отдельные случаи содержания инвалидов войны в специальных заведениях. Нет, они не говорили о том, что там содержали тех, у кого не было родственников и близких, которые бы помогали им. И уж, конечно, умалчивали «друзья народа» о том, что почти в каждой советской семье после войны находился то ли безрукий, то ли безногий. Их не только не сторонились – их женили, рожали им детей. А дядя Ваня Косарев из нашей деревни, например, ходивший из-за ранений на четвереньках, простите, имел любовницу в соседней деревне, с которой прижил крепкого мальчишку.

А вот о том, что делается ныне в средствах массовой информации, без негодования и впрямь говорить невозможно. Все больше и больше утверждаешься во мнении: прикрываясь пресловутой гласностью, нас сознательно обкармливают отчаянной гадостью, пошлостью, ужасами и страшилками, дабы разрушить до конца сохранившуюся еще кое у кого здоровую психику. И не прав ли тогда Валентин Распутин, советуя согражданам во имя спасения души своей выключить телевизоры?

Ох, уж эти «друзья народа», поющие с чужого голоса. Понять бы им – не большевистский призыв, а библейский, божеский постулат, ориентирующий на борьбу любыми средствами со смертным грехом – отчаянием. И объясните мне умники-словоблуды, почему в ваше счастливое, справедливое время так косят от армейской службы молодые ребята, постулирующие себя при опросах вроде как бы патриотами отечества? Дрожат за шкуру свою, боясь участи 13 тысяч афганцев, погибших за десятилетие? Но мы-то, представители поколения, воочию видевшие изуродованных, искромсанных в Великой Отечественной войне солдат, прекрасно знавшие, что за четыре года погибли более 20 миллионов наших сограждан, рвались на военную службу.

Поступить в офицерское училище было заветной мечтой многих из нас. От мечты стать воен-
мором меня лично не отпугнула даже гибель линкора «Новороссийск», где в перевернутом
трюме задохнулся троюродный брат мой Анатолий. Трагедия эта была скрыта от обществен-
ности, но родственники-то погибших знали об этом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.